



МАЯК ПАМЯТИ



Евгений Стужин

18+

Евгений Стужин

Маяк памяти

«Автор»

2026

Стужин Е.

Маяк памяти / Е. Стужин — «Автор», 2026

В столице живут люди, которые не помнят собственных детей. Другие уверены, что совершили чужие подвиги, и благодарны тем, кого никогда не встречали. Расследовать это поручают следователю Роберту Ренну — и девятнадцатилетней швее, которую древний Маяк только что выбрал Хранительницей подлинной памяти всех живущих. Он считает её помехой. Она считает его человеком, способным превратить любую боль в протокол. Пока они спорят о методах, тот, кого они ищут, выбирает следующего. И это будет один из них.

© Стужин Е., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	13
Глава 3	17
Глава 4	19
Глава 5	26
Глава 6	32
Глава 7	38
Глава 8	45
Глава 9	51
Глава 10	55
Глава 11	60
Глава 12	65
Глава 13	69
Глава 14	74
Глава 15	78
Глава 16	85
Глава 17	89
Глава 18	97
Глава 19	102
Глава 20	107

Евгений Стужин

Маяк памяти

Глава 1

Эмма заметила чужую ошибку за три часа до свадьбы.

Шов прятался под складкой на левом боку, в том месте, куда ни жених, ни гости, ни даже сама невеста, скорее всего, не посмотрели бы за весь долгий день, — и всё-таки синяя намёточная нить, которую кто-то поленился выдернуть, стягивала шёлк на полпальца сильнее, чем нужно, так что издали платье казалось безупречным, а в движении складка тянулась и делала шаг короче.

— Не трогай, — сказала мать, не поднимая головы от счётной книги. — Мы и так отдаём его позже обещанного.

Эмма провела подушечкой пальца по натянутой ткани.

— Она споткнётся на лестнице.

— Не споткнётся. Я велела ей идти медленно.

— На собственной свадьбе?

Марта Вейн подняла глаза. В её взгляде не было ни злости, ни нетерпения — только ясная оценка времени, света за окном и дочери, которая опять нашла себе лишнюю работу.

— Сколько?

— Если распустить две складки, минут сорок.

— Ты собиралась к морю с Тилем.

— Он подождёт.

Мать прикрыла счётную книгу ладонью.

— Я спросила, сколько займёт починка.

— Сорок минут.

— А ответила ты про Тиля.

Эмма улыбнулась, будто её поймали на безобидной хитрости, и потянулась за ножничками. В девятнадцать лет она уже хорошо знала, какие слова прекращают спор быстрее всего.

— Я успею и то и другое.

— Тогда распускай.

В мастерской пахло нагретым утюгом, мелом и лавандовой водой, и этот запах держался в комнате круглый год так плотно, что Эмма переставала его различать всюду, кроме первых минут после возвращения с улицы. За широким окном улица спускалась к гавани; между крышами виднелась полоска серебристого моря, и с самого утра над ним висела лёгкая дымка. В такие дни предметы на берегу появлялись словно из ниоткуда: море ночью перебирало чужие карманы, а к рассвету выкладывало добычу на песок — щепки, кости, стекло, обломки вещей, у которых когда-то были хозяева.

Тиль собирался найти сегодня стеклянный поплавок. Эмма обещала помочь.

Она осторожно поддела синюю нить. Стежок за стежком натяжение уходило, шёлк расправлялся под пальцами и снова становился просто тканью — тяжёлой, прохладной, чуть скользкой, — и Эмма любила эту часть работы больше всего: не создание нового, а момент, когда испорченную вещь ещё можно было понять. Ткань всегда показывала, где с ней обошлись слишком грубо. Нужно было лишь не тянуть в ответ.

Колокольчик над дверью звякнул, и в мастерскую вбежала помощница из дома невесты — раскрасневшаяся, с выбившимися из-под шляпки волосами.

— Госпожа Вейн, они уже запрягают экипаж. Мать невесты говорит, если платье не будет через четверть часа, она...

Девушка замолчала, увидев платье на столе и ножницы в руке Эммы.

— Что вы с ним делаете?

— Не даю вашей невесте упасть, — ответила Марта.

— Оно было готово!

— Почти готово — это выражение для супа. Платье либо готово, либо нет.

Эмма прикусила улыбку. Мать говорила, что в мастерской нельзя смеяться над заказчиками, и сама же постоянно делала это таким тоном, что никто не мог доказать умысел.

Через тридцать пять минут складка легла свободно. Эмма прошлась пальцами по изнанке, отрезала нить и только тогда позволила помощнице забрать платье.

— Скажи ей, чтобы всё равно шла медленно, — попросила она. — Лестница мокрая.

Дверь захлопнулась, колокольчик ещё дрожал, а из глубины дома уже донеслись три быстрых удара по стене — и Эмма отложила ножницы, потому что этот сигнал не менялся с тех пор, как Тилу исполнилось шесть.

Он вошёл из внутренней комнаты с корзинкой на локте и выражением человека, которого предали давно и обстоятельно. В двенадцать лет ему уже удавалось молчать с большим смыслом, чем большинству взрослых — говорить.

— Я знаю, — сказала Эмма.

— Отлив заканчивается.

— Ещё нет.

— Пока дойдём, закончится.

— После обеда будет другой.

— После обеда там всё разберут.

Он поставил корзинку на прилавок. На дне лежали верёвка, тряпица для стекла и кусок хлеба, который Тиль считал необходимым снаряжением любого исследователя.

— Мне жаль.

— Тебе всегда жаль.

Она ожидала, что он прибавит что-нибудь резкое, но Тиль только пожал плечами и ушёл во двор, и от этого стало заметно хуже, чем от любого упрёка.

Обед они ели в комнате за мастерской, где стол был слишком большим для пятерых и слишком маленьким для любого дела, которое Марта приносила домой. Сегодня между миской с картофелем и хлебом лежали три образца синей ткани: мать выбирала подкладку для осенних плащей и трогала каждый лоскут пальцами, будто ткань могла возразить.

Йорен Вейн пришёл с верфи, не успев смыть с рук древесную пыль. Она въелась в складки пальцев и выбелила тёмные волосы у виска, когда он провёл ладонью по лбу. Ларс сидел напротив — такой же широкоплечий, но ещё не научившийся отмалчиваться с отцовским спокойствием. Тиль демонстративно изучал картофелину.

— Значит, стеклянного поплавка у нас нет, — сказал Ларс.

— Зато город не лишился невесты на мокрой лестнице.

— Город бы пережил.

Марта положила ему в тарелку ещё картофеля.

— Не разговаривай с набитым ртом.

— У меня рот пустой.

— Я готовлюсь заранее.

Йорен спрятал улыбку в кружке. Потом посмотрел на дочь.

— А ты сама чего хотела?

Вопрос был такой простой, что Эмма не сразу поняла, почему за столом стало тихо.

— Сегодня?

— Можно начать с сегодня.

Она посмотрела на Тиль. Он продолжал изучать картофелину, но теперь держал вилку неподвижно.

— Пойти к морю.

— Так почему не пошла?

— Нужно было закончить работу.

— Кому?

— Всем нам. Мастерской.

— Мать тебя просила?

Эмма потянулась за хлебом, хотя хлеб уже лежал у её тарелки.

— Какая разница? Я видела, что нужно сделать.

— В том и разница, — сказал Ларс.

Она повернулась к нему.

— Ты теперь тоже будешь объяснять мне, как помогать матери?

— Нет. Я буду объяснять, что ты соглашаешься раньше, чем узнаёшь цену.

— Какую страшную цену я заплатила? Два часа у моря?

— Сегодня — два часа.

Он говорил без насмешки, и Эмма рассердилась сильнее, чем если бы он поддевал её.

— Зато платье готово, пальто готовы, мать закончила расчёты, а Тиль всё ещё может сходить со мной после обеда.

— Прилив, — напомнил Тиль.

— Мы погуляем по верхнему берегу.

— Там одни камни.

— Значит, найдём лучшие камни в Эстене.

Тиль наконец посмотрел на неё. Обида в его лице ещё держалась, но уже без прежней убеждённости.

— Ты не будешь опять работать?

— Не буду.

— Даже если кому-нибудь понадобится?

— Тиль.

— Я проверяю условия обещания.

Йорен кашлянул в кулак. Ларс опустил взгляд к тарелке, но Эмма увидела, как дрогнул уголок его рта.

— Даже если понадобится, — сказала она.

Марта выбрала из трёх образцов самый тёмный и отложила два других.

— Возьмите корзинку. И вернитесь до вечернего колокола.

— Мы же не маленькие, — сказал Тиль.

— Это я Эмме.

Верхний берег действительно состоял почти из одних камней. Море отступило далеко, оставив за грядой чёрных валунов мокрую полосу песка, до которой без сапог было не добраться, и Тиль сперва ворчал всю дорогу вдоль линии водорослей, а потом нашёл зелёный осколок бутылочного стекла, обкатанный водой до мягкости, подержал его на просвет и простил миру всё сразу.

Ветер трепал завязки Эмминого чепца и нёс запах соли, угля и рыбы из гавани. Над крышами Эстена торчали шпили Верхнего города; дальше, в дымке, стоял Тьерн. С этого расстояния остров казался тёмной чертой, а Маяк — тонкой иглой света, воткнутой в небо.

— Говорят, он помнит первую лодку, которая сюда приплыла, — сказал Тиль.

— Кто говорит?

— Хенрик.

— Хенрик также говорил, что видел лирра с тремя головами.

— Может, тот быстро двигался.

Тиль присел у выбеленной коряги и вытащил из водорослей костяную пуговицу. Осмотрел, понюхал и положил в корзину.

— Зачем тебе пуговица без пальто?

— А зачем кому-то пальто без пуговицы?

— Возможно, человек пришил новую.

— Тогда старая свободна.

Эта логика показалась ему безупречной, и Эмма не стала спорить.

Следом он нашёл маленькую ракушку с отколотым краем. Эмма указала на две целые возле его сапога, но он выбрал повреждённую.

— У этой уже что-то случилось, — объяснил он. — Остальные пока просто ракушки.

Она нашла обломок белой чашки с синей каймой, медную заклёпку, спутанный рыболовный крючок. Тиль забраковал чашку — слишком острая — и одобрил заклёпку. Они уже повернули обратно, когда между двумя камнями блеснуло что-то круглое.

— Моё, — объявил Тиль.

— Я увидела первая.

— Но я сказал первый.

— Неоспоримое морское право.

Эмма опустила на корточки и раздвинула водоросли. В песке лежало кольцо — простое, медное, почти чёрное от времени, с неглубоким узором по краю, слишком стёртым, чтобы понять, что там было: волны, листья или переплетённые буквы.

— Дай, — потребовал Тиль.

Эмма подняла кольцо.

Холод пришёл раньше, чем она успела стряхнуть песок, и это был не осенний ветер и не вода на пальцах, а ледяная тяжесть, сомкнувшаяся над головой сразу и целиком, как захлопнутая крышка.

Камней под коленями больше не было.

Был солнечный день — другой, не этот, гораздо более тёплый, с высоким белым светом на воде и запахом нагретой смолы, — и был женский смех, близкий, захлёбывающийся, оборванный на середине вдоха, потому что она смеялась и одновременно пыталась удержаться за борт. Эмма видела мокрые ресницы и солнечный отблеск на них. Видела руку — не свою, широкую, с обломанным ногтем на большом пальце и белым шрамом поперёк костяшек, — и эта рука сжимала кольцо в кулаке так крепко, что медь оставляла на коже красный след. В груди у человека, которым Эмма сейчас была, стояло такое ровное, такое полное счастье, что ей стало больно дышать. Он собирался сказать сегодня. Он повторял это про себя всё утро, придумывал слова, отбрасывал их, начинал заново и заранее знал, что скажет плохо, и что это не будет иметь никакого значения.

Потом солнечная вода стала чёрной.

Вода вошла в рот и в нос одновременно. Холод был не температурой, а ударом, который выбил из груди весь воздух и не дал вдохнуть новый; свет над головой качнулся, разбился на белые пятна и начал уходить вверх, и рука разжалась сама, помимо воли, потому что пальцы перестали слушаться раньше всего остального. Кольцо ушло в темноту. Последним, что Эмма почувствовала, была не боль и даже не ужас, а изумление — простое, детское, почти обиженное: сегодня же.

Она резко вдохнула и едва не завалилась на бок.

В руке лежало всего лишь кольцо. Волна разбилась о дальние камни, не дойдя и на десяток шагов. Тиль смотрел на неё сверху вниз, приоткрыв рот.

— Ты чего?

Эмма попыталась ответить и обнаружила, что горло саднит, будто она действительно наглоталась воды.

— Холодное, — сказала она наконец.

— Оно из воды.

— Да.

Она потёрла большой палец о медный ободок. Ничего. Ни смеха, ни ледяной воды, ни чужой радости — только шершавая зелень налёта и мелкий песок в узор.

— Наверное, обручальное, — сказал Тиль. — Или было обручальным, пока его не выбросили.

— Почему сразу выбросили?

— Потеряли счастливые люди кольцо — это скучно.

Эмма хотела положить находку в корзину, но почему-то убрала в карман, и всю обратную дорогу чувствовала её через ткань — не тяжесть, а место, к которому возвращалась ладонь.

Они дошли до конца каменной гряды и сели смотреть, как вода медленно возвращает себе берег. Тиль делил хлеб: себе большую половину, Эмме — ту, которую счёл достаточно похожей на равную. Тьерн загорался всё ярче, и когда свет проходил над водой, Эмме казалось, что кольцо в кармане становится теплее, чем должно быть.

— А если он и правда всё помнит? — спросил Тиль.

— Маяк?

— Ну да. Всех людей.

— Так говорят.

— И нас?

— Наверное.

Он пожевал хлеб, глядя не на неё, а на далёкую башню.

— И тот раз, когда я разбил банку с мёдом и сказал, что это кошка?

— Боюсь, особенно этот.

— Плохо устроено.

— Зато он помнит и то, как ты потом сам всё вытер.

Тиль подумал.

— Не всё.

— Значит, помнит не всё.

Он засмеялся, подобрал плоский камешек и запустил по воде. Камешек прыгнул четыре раза и утонул.

— Пять было бы лучше, — сказал Тиль.

— Пять он тоже запомнит.

К вечернему колоколу они вернулись домой. Марта велела вытряхнуть песок с порога, Йорен признал медную заклёпку частью старого корабельного крепления, а Ларс сказал, что костяная пуговица, скорее всего, пролежала в рыбьей требухе, за что получил тряпицей в плечо. За ужином спорили, можно ли считать найденное стекло драгоценностью, если оно красивее большинства драгоценных камней, которые семья видела только в витринах.

Эмма почти рассказала про смех и воду. Почти достала кольцо. Но воспоминание — если это было воспоминание — успело съёжиться до чего-то короткого и нелепого: усталость, холодный металл, свет на море. Воображение умеет делать из трёх вещей целую историю.

Она распустила волосы, сложила одежду на стул и проверила, не осталось ли на пальцах синей нитки от свадебного платья. На подушечке указательного пальца виднелась тонкая красная полоска — она всё-таки укололась и не заметила.

Кольцо она собиралась положить на столик возле кровати и не положила.

Позже Эмма не смогла объяснить, почему. Медь была тёплой от кармана, узор по краю стёрся ровно настолько, чтобы пальцу хотелось его дочитать, — и рука сама сомкнулась. Она

лежала в темноте, катая кольцо по подушечке большого пальца, как катают чётки, и думала, что завтра покажет его отцу: он умеет отличать корабельное железо от дверного и, может быть, скажет, чьё это было.

За окном над крышами медленно проходил свет Маяка.

Эмма подумала о невесте, которой сегодня не пришлось придерживать платье на мокрой лестнице. О Тиле, заснувшем, вероятно, с зелёным стеклом под подушкой. О вопросе отца, на который она так и не ответила по-настоящему.

Чего ты хотела?

Она закрыла глаза, собираясь решить это завтра. Кольцо осталось в кулаке.

А открыла их посреди чужой толпы.

Мальчика звали Том.

Эмма знала это так же несомненно, как знала, что ему пять лет, что он не любит корку на хлебе, что он всегда выдёргивает руку, когда видит музыкантов, и что у него под левым ухом есть маленькая ямка, в которую помещается кончик её мизинца. Она знала тяжесть его сонного тела и запах его волос после дождя. Знала всё это — и не могла вспомнить его лица.

Праздничные ленты тянулись между домами, торговцы выкрикивали цены, над головами качались бумажные птицы, медные трубы били один и тот же бодрый такт, и всё вокруг было слишком ярким, слишком громким и слишком плотным: чужие плечи, локти, корзины, юбки, тёплый бок лошади, запах жареного теста и пыли.

— Том!

Голос оказался не её. Ниже, хриплый от крика.

Кто-то обернулся. Рыжий мальчик у бочки, девочка в жёлтой шапке, старик с засахаренным яблоком. Не он. Не он. Не он.

Страх не рос — он уже был везде, он сжимал горло и толкал кровь в виски, и вместе с ним пришло странное, отдельное наблюдение: Эмма видела мир чужими глазами и всё же могла смотреть по сторонам, но за спиной у неё ничего не существовало, пока женщина, чью жизнь она проживала, не поворачивалась. Лица в толпе оставались ясными только мгновение, а потом распадались на цвет, голос, край рукава. Мальчик исчез минуту назад. Или десять. Она не помнила. В одной руке осталась его синяя варёжка, и Эмма стискивала её так сильно, что ногти резали ладонь.

Она пыталась отступить, проснуться, вспомнить собственную кровать и запах лавандовой воды — и страх не позволял, потому что где-то среди этих тел был её сын.

Чужой сын.

Слово не помогло. Любовь не стала меньше от того, что принадлежала другой женщине.

— Том!

Площадь закончилась у торговых рядов. На дальнем конце над крышами вспыхнул Маяк — не бледный дневной свет, к которому Эмма привыкла, а ослепительная белая полоса. Женщина увидела его и подумала: если он всё помнит, пусть запомнит и это. Пусть хоть кто-нибудь знает, что я искала.

Музыка оборвалась.

В короткой тишине раздался детский плач.

У прилавка с деревянными игрушками стоял мальчик в одном синем рукаве, с мокрыми щеками и дрожащей нижней губой. Женщина бросилась к нему; чьё-то плечо ударило её в грудь, корзина упала под ноги, и всё это не имело никакого значения.

Том поднял голову.

Облегчение оказалось большее страха. Эмма подхватила ребёнка — и одновременно почувствовала, как чужие руки обнимают его, как его колени упираются в чужие бёдра, как он утыкается лицом ей в шею и пахнет дымом, яблоком и собой. Мир вернулся на место не

потому, что площадь стала тише, а потому, что пять лет тёплой, упрямой жизни снова оказались у неё в руках.

— Не отпускай, — всхлипнул он.

— Никогда.

Это обещание женщина дала легко, ещё не зная, сколько раз в жизни нарушит его по причинам, которые будут казаться важными.

А потом Эмма отстранила мальчика на длину рук, чтобы посмотреть ему в лицо.

Лица не было.

Не пустота, не рана, не чужие черты — хуже: место, где лицо должно находиться, отказывалось удерживаться взглядом. Она видела воротник, ухо, мокрую прядь у виска и ямку под левым ухом, в которую помещался кончик мизинца. Между ними ничего не собиралось. Эмма поворачивала ребёнка к свету, стирала ладонью грязь с его щёк, звала по имени — и с каждым разом теряла ещё что-нибудь: сначала брови, потом рот, потом голос.

Руки продолжали чувствовать его вес. Он был здесь, тёплый, живой, у неё на груди, и она уже не знала, кого держит.

Женщина закричала первой. Эмма — вместе с ней.

Комната была тёмной, простыня запуталась в ногах, сердце билось так, будто она и правда бежала через площадь. Кольцо всё ещё лежало в кулаке; медь врезалась в ладонь и оставила красный след поперёк линий.

За стеной что-то стукнуло. Дверь распахнулась, и на пороге появился Тиль — взъерошенный, босой, в длинной рубаше. За ним в коридоре зажглась свеча.

— Что случилось?

Эмма смотрела на брата и не могла ответить. Она видела его совершенно ясно: примятую с одной стороны щёку, царапину на подбородке, сердитые со сна брови. Ничего не расплывалось. От того, насколько отчётливым было это лицо, стало почти больно.

Мгновение назад она знала рост мальчика по зарубкам на двери, знала, как он произносит букву «р», знала песню, под которую он засыпает. Теперь детали уходили, будто вода просачивалась между пальцами. И вместе с ними уходила уверенность, что она вообще сумела бы его узнать.

Но любовь оставалась.

Она вскочила и обняла Тилья так резко, что он охнул.

— Ты чего?

— Ничего.

— Это не похоже на ничего.

В дверях появилась Марта со свечой. За её плечом стоял Йорен; дальше, шурясь от света, Ларс.

— Плохой сон, — сказала Эмма. — Простите. Я вас разбудила.

— Ты кричала «Том», — напомнил Тиль из её объятий.

Эмма и не знала, что кричала вслух.

— Мне приснился мальчик, — сказала она.

— Ты решила его усыновить?

— Вряд ли он согласится, — сказал Ларс, прислонившись к косяку. — Судя по крику, знакомство началось плохо.

— Все спать, — распорядилась Марта. — Эмма, воды?

Она покачала головой.

Когда дверь закрылась, Эмма зажгла маленькую лампу и разжала руку. Медный ободок оставил на ладони вдавленный круг. Она сжала кольцо снова, как сжимал тот человек на солнечной воде, и стала ждать смеха, холода, хотя бы тени площади.

Ничего.

За стеной Тиль пробормотал что-то Ларсу; дом снова устраивался во сне — скрипнула кровать родителей, прошли шаги, затих пол. Эмма положила кольцо обратно и села на край постели, обхватив колени.

Том. Имя ещё держалось. Пять лет. Синяя варежка. Ямка у уха.

Она достала из ящика обрывок бумаги, которым обычно размечала выкройки, и записала всё, что помнила: праздник, бумажные птицы, деревянные игрушки, Маяк над крышами, женский голос, обещание никогда не отпускать.

Лица мальчика в записи не было. Лица женщины, которой она была, — тоже.

Зато осталось третье, о чём Эмма писать не стала, потому что не знала, как назвать: пока она бежала через ту площадь, свет над крышами повернулся и прошёл по ней одной.

Глава 2

Утром запись показалась чрезмерно серьёзной.

— Бумажные птицы бывают на празднике основания города, — сказал Йорен, прочитав первые строки. — Но он в конце весны.

Эмма отобрала листок.

— Я не просила разгадывать сон.

— Ты оставила его возле чайника.

— Значит, сон просил.

Отец подвинул к ней тарелку с кашей.

— Ешь. Чужие дети требуют много сил.

Тиль сидел рядом и время от времени проверял, не собирается ли сестра снова его обнимать; когда Эмма потянулась за солью, он на всякий случай отодвинулся вместе со стулом.

В мастерской ждал обычный день. Невеста прислала записку с благодарностью — лестница действительно была мокрой, но никто не упал. Марта велела раскроить серое сукно для двух дорожных плащей, и работа потребовала такой точности, что не оставила места ночным площадям: мел, линейка, тяжёлые ножницы, ровный сухой звук лезвий по натянутой ткани.

К полудню Эмма не могла вспомнить цвет Томовых волос. К двум часам исчезли деревянные игрушки — она знала, что мальчик стоял у какого-то прилавка, но у какого, пришлось посмотреть в запись.

Станным было не то, как быстро уходил сон. Сны всегда уходили. Станным было чувство, которое отказывалось следовать за ними.

Когда колокольчик над дверью звякнул и внутрь вошла женщина с ребёнком, у Эммы перехватило дыхание. Мальчик был старше Тома, темноволосый, в красном шарфе; он скучал, пока мать обсуждала длину рукавов, и ковырял ногтем царапину на прилавке, а Эмма смотрела на него с такой нежностью, что женщина в конце концов заслонила сына собой.

— Всё в порядке? — спросила она.

— Да. Простите.

Эмма ушла в заднюю комнату и долго мыла руки в холодной воде. Это не её любовь, повторяла она, я даже не знаю этого ребёнка. Мысль была совершенно ясной, и тело ей не верило ни секунды.

После обеда Марта отправила её отнести готовый сюртук в лавку возле рыбного рынка. Тиль увязался следом, потому что уроки у него закончились, а корзину нести всё равно кому-то надо было — этот довод он изложил так убедительно, что Марта даже не стала возражать.

— Ты сегодня медленная, — сказал он на улице.

— Я не спала.

— Из-за мальчика?

— Из-за мальчика.

— Ларс один раз кричал во сне из-за селёдки.

— Вот видишь. Значит, ничего особенного.

— Но он накануне съел селёдку.

Тиль умел строить рассуждения, из которых нельзя было выйти с достоинством. Эмма подтолкнула его в плечо, и он наконец засмеялся.

Рыбный рынок заполнял половину набережной: над прилавками хлопали навесы, торговцы спорили с покупателями через головы, чайки ныряли между крышами и уносили тряпку, а пахло здесь так плотно — солью, льдом, кровью, смолой, мокрым деревом, — что запах чувствовался языком. Эмма отдала сюртук хозяину лавки, получила расписку и обернулась.

Тилиа не было.

Только что он стоял у корзины с ракушками. Только что спрашивал, почему большие продают, если маленькие красивее. Теперь рядом толкались чужие спины.

Страх вернулся целиком — не воспоминанием, а приказом тела: он поднялся из живота, перехватил горло и погнал её к набережной прежде, чем она успела решить, куда бежит. Эмма задела женщину, выронила расписку и не остановилась подобрать. В одной руке словно снова была синяя варежка. Звуки рынка слились в единый грохот, лица распались на цвет и движение, и она ловила себя на том, что ищет красный шарф, хотя Тиль был без шарфа, и высматривает деревянные игрушки там, где торгуют рыбой.

— Тиль!

Кровь стучала в висках: не он, не он, не он.

— Эмма?

Тиль стоял позади неё с двумя пирожками в руках.

— Я купил...

Она схватила его за плечи.

— Где ты был?

— Вон там.

— Я велела стоять рядом.

— Ты ничего не велела. Я сказал, что куплю пирожки.

— Нельзя просто уходить!

Он растерянно моргнул. Один пирожок выскользнул из бумаги и упал на мостовую.

И тогда Эмма увидела наконец не лицо пятилетнего Тома, а лицо Тиля, которого знала двенадцать лет, и знакомую складку, собиравшуюся у него между бровей всякий раз, когда с ним обходились несправедливо.

Она отпустила его.

— Прости.

— Я был в десяти шагах.

— Знаю.

— Не знаешь. Ты даже не смотрела туда.

Он поднял упавший пирожок, завернул его отдельно и пошёл домой быстрее неё.

Вечером Эмма дополнила запись. «Не сон», — написала она, а потом зачеркнула и вывела ровнее: остаточный страх после сна, перепутала рынок с площадью, искала не те вещи. Ниже добавила: чувство осталось, когда детали исчезли. Посидела, покусывая кончик пера, и приписала ещё два слова: чужое чувство.

От них стало легче. Если чувство было чужим, значит, его можно было отделить, дать ему имя, провести вокруг него черту и подождать, пока оно уйдёт само.

Перед сном Тиль постучал в дверь.

— Я не сержусь, — сообщил он.

— Спасибо.

— Пирожок, который упал, я отдал Ларсу.

— Это великодушно.

— Он не знает.

— Спокойной ночи, — сказала Эмма.

Она заперла медное кольцо в ящик стола и всю ночь просыпалась от того, что рука тянулась к ящику.

Третий раз случился через день, и после него объяснять уже было нечего.

Марта отпустила её к морю сама — сказала, что от бледной швеи заказчицам делается тревожно. Отлив стоял низкий, каменная гряда обсохла до самых дальних валунов, и Эмма пошла вдоль неё туда, где неделю назад лежало кольцо.

Она не собиралась искать ничего. Просто хотела постоять на том месте.

Следы появились между камнями так же буднично, как появляются водоросли.

Босые детские ступни шли по мокрому песку в трёх шагах справа. Вода не заполняла углубления — это было единственное, что отличало их от настоящих, и Эмма заметила несоответствие, отметила его и почему-то не испугалась. За детскими проступили другие: тяжёлые подошвы, тонкие женские туфли, отпечаток ладони, снова босые, но уже взрослые. Люди шли к воде и в воду, много людей, разных лет, и берег на мгновение сделался таким полным, что стало неловко идти против общего движения.

Впереди, за первой линией волн, кто-то ждал.

Эмма знала о нём три вещи, и все три были не её. Что ему семь лет. Что он не умеет плавать. Что виновата она, потому что отпустила руку у самой воды и отвернулась к торговке за солью.

Горе накрыло её ровно, как одеяло, — без крика, без спазма, почти уютно. Она сняла чепец, потому что в воду не ходят в чепце, и пошла.

Первая волна дошла до щиколоток. Вторая до колен. Юбка сразу отяжелела и потянула вниз, и Эмма подумала, что это правильно и так и должно быть: сначала тяжело, потом легче.

Она успела сделать ещё два шага.

Ларс ударил её плечом в бок — не обнял, не поймал за руку, а сбил с ног, как сбивают человека с горящей палубы, — и они оба рухнули в воду. Эмма ушла под волну с открытым ртом. Соль обожгла горло. Она забилась, ударила его локтем в лицо, попыталась вернуться туда, где ждал ребёнок, — и брат вытащил её на песок волоком, за подмышки, спиной вперёд, ободрав ей плечо о ракушечник.

— Там мальчик, — сказала Эмма.

— Нет там никого.

— Он в воде.

— Я смотрю на воду час. — Голос у Ларса был совершенно ровный, и от этой ровности стало страшнее, чем если бы он орал. — Я иду за тобой от самого дома. Там нет никого, Эмма.

Она села. С волос текло. В десяти шагах прибой перекачивал её чепец.

Горе не уходило. Оно стояло в груди целиком, чужое, огромное, с именем, которого она не знала, и Эмма вдруг поняла, что если брат сейчас отвернётся, она встанет и пойдёт опять.

— Не отпускай меня, — сказала она.

Ларс не отпустил. Он сидел на мокром песке, держа сестру поперёк груди обеими руками, пока над заливом не зажётся свет Маяка, и молчал, потому что впервые за двадцать три года не знал ни одного слова, которое бы тут годилось.

Домой они пришли в темноте.

Марта увидела рассаженное плечо, мокрую юбку и лицо Ларса и не спросила ничего. Она сняла с дочери одежду, растёрла её полотенцем до красноты, усадила к печи и только потом, стоя спиной, произнесла:

— Говори.

Эмма рассказала всё: и площадь с Томом, и рынок, и следы, и мальчика в воде. Йорен слушал, опершись о косяк. Тиль сидел на полу и держал сестру за щиколотку — единственное, до чего дотянулся.

Когда она закончила, стало очень тихо.

— Это не сны, — сказал Ларс.

— Я знаю, — ответила Эмма.

Ночью ей долго не удавалось уснуть: она считала удары часов, прислушивалась к дыханию дома и повторяла про себя имена — Марта, Йорен, Ларс, Тиль, — а собственное имя казалось слишком очевидным, чтобы включать его в перечень.

Когда сон всё же пришёл, в нём не было площади.

Сначала Эмма увидела руки старика, завязывающие рыболовную сеть, и мокрую пеньку, режущую ладонь. Потом — окно, по которому ползла кровь. Девушку в красном платье, смеющуюся на лестнице так, что стало слышно, какая она пьяная и какая счастливая. Солдата, спрятавшего письмо под камнем. Ребёнка, впервые услышавшего море и решившего, что это шум в собственной голове. Женщину, которая закрыла дверь и по звуку замка поняла, что за ней уже никого нет.

Жизни вспыхивали и гасли прежде, чем Эмма успевала понять, кому они принадлежат. Радость была светлым пятном, горе — тёмным, но тянуло и то и другое одинаково сильно, а между ними шли бесчисленные тонкие нити, которые пересекались, путались и уходили вдаль, к белому сиянию над морем.

Эмма захотела проснуться. Вспомнить кровать, комнату, имена за стенами.

Сияние приблизилось.

В нём не было ни лица, ни голоса, но оно назвало её.

Эмма Вейн.

Не вопрос. Не просьба.

Призыв.

Глава 3

Освальд Крей возвращался к себе по четырём вещам.

Сначала имя. Он произнёс его вслух, хотя язык не сразу вспомнил правильное положение во рту.

— Освальд.

Человек, чью память он только что покинул, звался Гельм, был моложе на сорок лет, выше на голову и мёртв третий месяц. Всё это Освальд знал совершенно точно — и всё-таки пальцы у него ещё ждали тяжести молота, которого он никогда не держал, а в груди жила простая, ничем не омрачённая уверенность: у него две дочери, и старшая не простит, что он умер до её возвращения.

Имя отделило первое чужое.

— Маяк, внутренний зал. Восточная сторона.

Место отделило второе: не кузница у речных ворот, не кровать, над которой дочери Гельма спорили шёпотом, а круглая комната из серого камня, утро, море за узкими окнами и кристалл над головой, отзывающийся низкой ровной вибрацией, которую слышали не уши.

Близкий человек.

Освальд поднял взгляд к латунному компасу на краю стола. Он мог назвать прежнего наставника, умершего шестьдесят два года назад; мог назвать женщину, чей голос помнил лучше лица. Но мёртвые слишком легко смешивались с архивом, а для возвращения требовался кто-то по эту сторону.

— Бригитта Солль, — сказал он.

Старшая распорядительница не была ему родней и редко соглашалась с ним без письменного возражения — именно поэтому годилась. Перепутать Бригитту с удобным воспоминанием было решительно невозможно.

Телесное ощущение.

Освальд прижал ладонь к каменному полу. Холод вошёл в старые суставы, боль отозвалась в правом колене — своя боль, давно знакомая, незначительная. Дочери Гельма отступили, молот исчез, и Освальд снова знал, что прожил девяносто один год, а не пятьдесят три, никогда не был кузнецом и умереть сегодня не планировал.

Он остался сидеть на полу, пока дыхание не стало ровным.

На столе лежал запечатанный ключ: небольшая стеклянная трубка, залитая с обоих концов чёрным воском, а внутри — свёрнутый кусок ткани, вероятно, с кровью. К бирке была привязана нить, и на бирке собственной рукой Освальда написано: «Не открывать без меня. О. К.»

Он прочитал дважды.

Почерк был его — резкий наклон, слишком длинная нижняя черта у буквы «д», маленькая клякса там, где перо задержалось. Воск носил печать Хранителя; никто не мог подготовить такую вещь без его участия. И Освальд не помнил ни ткани, ни человека, которому принадлежала кровь, ни причины запрета.

Несколько мгновений он честно перебирал обычные объяснения: ключ мог быть старым, он мог перенести его после вчерашней описи, тяжёлый просмотр Гельма мог временно вытеснить недавний разговор. Но на воске оставался свежий след большого пальца.

Освальд поднялся, опираясь на стол, отнёс трубку к стенному шкафу, открыл нижнее отделение и положил ключ за коробкой пустых печатей.

Записать провал означало сообщить Совету. Совет назначил бы освидетельствование. Бригитта, к несчастью, оказалась бы права минимум в половине своих тревог, работу ограничи бы — а нового Хранителя не было.

Он закрыл шкаф и всё же открыл рабочий журнал.

Вчерашняя страница содержала четыре обычные записи: сверка двух судебных ключей, отказ в просмотре семейного письма, замена треснувшего стекла в северном шкафу, разговор с Бригиттой о запасах масла. Между второй и третьей строкой оставалось пустое место шириной в два пальца.

Освальд провёл по нему ногтем. Он никогда не оставлял пустот — не из суеверия, а потому, что пустое место в журнале позволяет позднее вписать решение задним числом. Пергамент не был выскоблен, чернила не смывали. Возможно, он просто собирался что-то записать и передумал.

Он поставил на полях точку — маленький внешний след для самого себя. Если завтра точка покажется незнакомой, придётся сказать Бригитте.

Не сегодня.

Кристалл над ним изменил свет. Не стал ярче — яркость была свойством глаз, а Маяк редко заботился о глазах; изменилась внутренняя нота. Миллионы далёких связей, всегда присутствовавших на краю сознания Освальда, на миг отступили, освобождая одну-единственную дорогу.

Он замер.

За шестьдесят четыре года Маяк обращался к нему так лишь трижды: когда выбрал его самого; после обвала западной галереи, где под камнем оставались двое слугителей; и сейчас.

— Нет, — сказал Освальд.

Маяк не изменил решения.

Дорога вела не к архиву и не к чужой смерти, а в город, через залив, в узкую улицу, спускающуюся к гавани, в комнату над мастерской, где на столике возле кровати лежало потемневшее медное кольцо, а девушка, спавшая рядом, только что слышала собственное имя.

Освальд знал это имя ещё до того, как успел его подумать.

Он долго стоял, держась за край стола, и считал причины, по которым Маяк не мог быть прав. Она не готова. Никто не готов, но у неё нет даже начала подготовки. Устав требует шести лет обучения при Ордене. Совет потребует освидетельствования — и обнаружит не её слабость, а его собственную. Хранителю девяносто один год, и он не помнит, чью кровь запечатал вчера в стеклянную трубку.

Ни одна из причин не отменяла призыва.

Освальд взял с подоконника латунный компас и убрал его в карман. Стрелка была бесполезна на острове, где всё железо в стенах врало, но он носил её в город с тех пор, как начал сомневаться в направлениях.

Потом сел и написал две строки в журнале.

Первая касалась Гельма Арно, кузнеца, двух дочерей и семейной закладной.

Вторая была короче: «Маяк выбрал. Эмма Вейн, Эстен, швейная мастерская. Возраст неизвестен. Подготовки нет».

Он посмотрел на пустое место двумя строками выше.

Между ним и новой записью помещалось ровно столько, сколько нужно, чтобы позже кто-нибудь решил, будто одно объясняет другое.

Глава 4

Утром Эмма повторила слова женщины, которой никогда не встречала.

Это произошло во время примерки. Госпожа Альт стояла на низком помосте в дорожном платье, поднимала руки и жаловалась, что рукав тесен, хотя между тканью и локтем свободно проходили два пальца.

— Если сделать шире, он будет собираться у плеча, — объяснила Эмма.

— Лучше складка, чем синяя рука.

Марта отвернулась к полке с нитками, чтобы заказчица не увидела её лица. Эмма опустилась на колено и ещё раз проверила шов.

Под пальцами была коричневая шерсть — и вдруг стала грубой серой тканью чужого плаща, мокрой у ворота, пахнувшей дождём и лошадью.

Мужчина стоял на причале спиной к ветру. Эмма не видела его лица, только мокрый воротник и руку на перилах, и кто-то внутри неё отчаянно хотел попросить его остаться, а вместо этого произнёс совсем другое:

— Не бери в дорогу моё последнее утро.

Госпожа Альт замолчала. Марта медленно повернулась.

Эмма всё ещё держала рукав — коричневый, сухой, тесный только в воображении заказчицы.

— Что вы сказали?

— Я... ничего.

— Вы сказали про последнее утро.

Женщина отдернула руку так резко, что булавка упала на пол.

— Простите. — Эмма поднялась. — Мне приснилось... Я задумалась.

— Во время примерки моего платья?

Марта вмешалась прежде, чем Эмма нашла худшее объяснение.

— Эмма не выпалась. Рукав я закончу сама, без складки и без синей руки. С вас прежняя цена.

Таким тоном Марта завершала и примерки, и войны. Госпожа Альт позволила снять платье, но ушла, дважды оглянувшись.

Колокольчик затих.

— Теперь рассказывай, — сказала Марта.

Эмма рассказала про второй сон: про руки, вязавшие сеть, окно с кровью, солдата и женщину за дверью, про свет, назвавший её по имени. Говорить о первом сне она не собиралась — тот уже казался объяснённым, — но мать слушала так молча и так внимательно, что скрывать Тома стало глупо.

— Почему ты не сказала сразу?

— Потому что это сны.

— Сегодня ты не спала.

Эмма опустила взгляд на руки.

— Я знаю.

В дверь постучали — не колокольчик покупателя, а три ровных удара в дерево.

На пороге стоял старик в мокром тёмном пальто. Очень старый, ниже Марты на полголовы, с тростью, на которую он опирался скорее из раздражения, чем из беспомощности. Ни свиты, ни знака, ни бумаги.

— Прошу прощения. Мне сказали, у вас чинят.

— Чиним, — сказала Марта. — Что у вас?

Он выложил на прилавок обшлаг пальто, распоротый по шву.

— Зацепился о причальную скобу.

Марта посмотрела на шов, потом на старика, потом снова на шов.

— Это не скоба. Это ножом.

— Возможно, — согласился он покладисто.

Эмма вышла из-за занавески, потому что мать уже открывала рот для фразы, после которой заказчики обычно уходили.

— Я посмотрю.

Она взяла обшлаг. Сукно было дорогим, старым и много раз чиненым — не бедностью, а привычкой: человек не покупал новое, пока старое можно было держать в порядке. Внутри подкладки шёл ряд аккуратных стежков чужой рукой, потом такой же ряд, потом ещё.

— Вы сами чинили?

— Плохо?

— Ровно. Просто одинаково ровно двадцать лет подряд, а нить меняется трижды. — Эмма перевернула ткань. — Значит, вы. Другой человек хоть раз да поленился бы.

Старик посмотрел на неё внимательнее, чем требовал разговор о пальто.

— Сколько времени?

— Полчаса. Садитесь, здесь дует.

Он сел на табурет у окна, положил трость поперёк коленей и, пока Эмма распускала испорченный шов, задавал вопросы — обыкновенные, скучные, из тех, какими старики занимают руки чужой молодости. Давно ли она в мастерской. Много ли заказов зимой. Правда ли, что на прошлой неделе кто-то из портовых утонул, или врут.

— Врут, — сказала Эмма. — Он выплыл. Его вытащил брат.

— Хороший брат.

— Хороший.

Игла шла ровно. За окном грохотала телега.

— А вы спали в эту ночь? — спросил старик тем же тоном, каким спрашивал про заказы.

Эмма подняла голову.

Марта у прилавка перестала перекладывать образцы.

— Три ночи, — продолжил он, глядя на её руки. — Первая — толпа и праздничные ленты. Вторая — рынок, вы искали ребёнка, которого там не было. Третья — вода. Скажите мне только одно, госпожа Вейн, и я, если ошибся, заплачу за работу вдвое и уйду. Как звали мальчика?

Нитка выскочила из ушка.

— Том, — сказала Эмма.

Старик закрыл глаза и просидел так секунды три.

— Освальд Крей, — представился он. — Хранитель Архивного маяка. Простите за пальто. Я мог назвать себя у порога, но тогда вы отвечали бы мне так, как отвечают Хранителю, а мне нужно было увидеть, как вы отвечаете обычному человеку.

Марта села, не нащупав стул с первой попытки.

Эмма это имя знала — оно стояло под судебными решениями, о которых спорили в газетах, — и никогда не думала, что оно принадлежит кому-то, у кого мёрзнут руки.

— Как вы узнали про Тома? — спросила она.

— Маяк показал. Белый шёлк, окно на гавань, вашего брата с зелёным стеклом. И мать, произносящую ваше имя. — Он помолчал. — И воду. Воду я видел трижды, и она мне не понравилась.

— Маяк выбрал её? — спросила Марта.

— Да.

Эмма ждала, что слово что-нибудь изменит: комната останется прежней, но наполнится светом, а она сама почувствует торжество, ужас или хотя бы ясность. Вместо этого за стеной

шипел уют, на полу лежала неподнятая булавка, за окном торговка рыбой ругалась с возчиком из-за перегороженной улицы, а на столе стояла недопитая чашка госпожи Альт. Мир не заметил, что одна жизнь только что разделилась на «до» и «после».

— Что это значит? — спросила она.

— Что связь уже возникла. Сны и фрагменты будут усиливаться. Без обучения вы можете потеряться в чужом воспоминании и не найти дорогу обратно.

— А с обучением?

— С обучением вы будете теряться реже.

Марта резко посмотрела на него.

— Утешать людей вы не учились?

— Учился. Оказалось вредно для точности.

Эмма положила иглу.

— Нет, — сказала она.

Освальд поднял брови.

— Простите?

— Я не поеду.

Слово вышло само и удивило её саму больше, чем всех остальных. Она услышала собственный голос будто со стороны и обнаружила, что говорит быстро и зло.

— У матери заказ на восемь плащей к празднику, и она не успеет одна. Тилу двенадцать, его надо забирать из школы, потому что он идёт домой через порт, а там грузчики. Отец три месяца не может дошить себе рабочую куртку, потому что вечерами чинит чужие вёсла. Я не «помощница в мастерской», я половина мастерской. Что вы предлагаете им сказать? Что море позвало?

— Эмма, — сказала Марта.

— Ты сама говорила госпоже Рейт, что без меня не возьмёшься за подкладки.

— Я говорила это, чтобы поднять цену.

Эмма осеклась.

— И всё равно, — сказала она тише. — Я не поеду.

Освальд не стал спорить. Он взял со стола наперсток, повертел его и положил обратно ровно на то же место.

— Хорошо, — сказал он. — Тогда я скажу вам, чего вы не знаете, а потом вы решите ещё раз. Разорвать связь я не умею. Возможно, не умеет никто. Если вы останетесь, сны не прекратятся — они станут длиннее. Сначала чужое чувство держится час после пробуждения, потом до вечера, потом вы перестаёте замечать переход. Вы уже позавчера не заметили.

— Я знала, что иду в воду.

— Вы знали, что идёте за ребёнком. Это разные знания. — Он подождал. — Я не говорю, что вы обязаны. Я говорю, что «остаться» не означает «остаться прежней». Такого выбора вам никто не даст, и мне жаль, что первым об этом сообщаю я.

В мастерской стало тихо. Уют за стеной перестал шипеть — служанка ушла обедать.

— Сколько людей за это отвечает? — спросила Эмма.

— Простите?

— Вы сказали, Маяк хранит всех. Сколько человек следит за тем, чтобы туда не лазили кому не следует?

— Один, — сказал Освальд. — Пока я.

— А если вы завтра умрёте?

— Тогда никто.

Эмма посмотрела на мать. Марта смотрела в счётную книгу и явно не видела ни одной цифры.

— Я подумаю до вечера, — сказала Эмма.

К обеду за столом сидели семеро: семья Вейнов, Освальд, его трость и молчание, которому словно тоже требовалось место.

Марта была за.

Она не говорила этого прямо — говорила о чести. В семье не было ни чиновников, ни учёных, ни людей, чьи имена печатали где-либо, кроме долговых расписок; Маяк выбрал её дочь без рекомендаций и родословной, и для Марты это означало, что мир наконец заметил очевидное. Эмма слушала и понимала, что мать при этом считает в уме: восемь плащей, зада-ток госпожи Рейт, кто сядет на её место у окна.

Йорен спросил о жилье, о безопасности дороги и о том, вправе ли отец приехать без разрешения.

— Без разрешения — нет, — сказал Освальд.

— А с разрешением?

— С разрешением всегда.

— Кто его даёт?

— Я.

— А когда вас не станет?

Освальд посмотрел на него с уважением.

— Тогда она сама.

Ларс был против.

Он не поднимал голоса и почти не смотрел на старика, но каждый его вопрос был короче предыдущего.

— Если Палата потребует показать чью-то память, она сможет отказаться?

— Сможет.

— А если суд прикажет?

— Суд даёт основание. Что именно смотреть и где остановиться, решает Хранитель.

— Государству это нравится?

— Почти никогда.

— И оно смиряется?

— Почти никогда.

— То есть между государством и моей сестрой будет стоять только вот это, — Ларс показал пальцем на Освальда, — а «вот это» девяносто один год.

— Ларс, — сказала Марта.

— Я не грублю. Я считаю. — Он повернулся к Эмме. — Ты вчера шла в воду. Он говорит, что дальше будет сильнее. И он же единственный, кто тебя оттуда вытащит. Тебе не кажется, что это плохо устроено?

— Кажется, — сказал Освальд.

Ларс замолчал первым.

— Мне тоже, — продолжил старик. — Я говорил это Совету двадцать лет. Устройство не станет лучше от того, что ваша сестра останется дома. Оно станет хуже: сейчас у Маяка есть один Хранитель, а потом не будет ни одного.

— Это не её забота.

— Нет. Но человек, который вошёл в воду за чужим ребёнком, вряд ли научится считать чужое своей не-заботой. Вы её брат, вы знаете это лучше меня.

Ларс посмотрел на сестру и ничего не ответил.

Тиль за весь обед не сказал ни слова.

— Когда нужно ехать? — спросила Эмма.

— Завтра утром откроется хорошее окно отлива.

— Так скоро? — вырвалось у Марты.

Честь, выяснилось, была легче, пока не требовала собирать сумку.

Эмма посмотрела на отца — он не подсказывал. Мать уже составляла в уме список вещей. Тиль крошил хлеб на стол.

Она могла сказать «нет»: остаться ещё на день, на неделю, навсегда — и каждую ночь ждать, чья жизнь откроется вместо её собственной. Могла сказать «да», потому что все вокруг уже видели в ней человека, который обязан согласиться. Ларс говорил: она отвечает прежде, чем узнаёт цену. Цену она всё ещё не знала.

— Я не обещаю остаться там навсегда, — сказала Эмма. — Но хочу увидеть Маяк наяву. И понять, почему он позвал меня.

Собственное «хочу» прозвучало непривычно, словно слово из чужого сна. На этот раз, впрочем, она знала, кому оно принадлежит.

Освальд не улыбнулся и не назвал решение правильным.

— Я зайду за вами до рассвета. Возьмите тёплую одежду, вещи, которые хорошо знаете на ощупь, и что-нибудь бесполезное, но ваше.

— Зачем бесполезное?

— Полезные вещи слишком быстро превращаются в принадлежности должности.

У дверей Марта задержала его.

— Скажите честно. Она вернётся такой же?

— Нет, — ответил Освальд. — Но и оставшись, не осталась бы.

Вечером дом наполнился сборами.

Эмма сложила два платья, шерстяные чулки, расчёску и маленький нож для нитей, потом достала всё обратно: одно платье казалось слишком нарядным для учёбы, другое — слишком старым для Маяка, будто древний кристалл мог осудить потёртые манжеты.

Марта вошла без стука.

— Возьми зелёное.

— Оно для праздников.

— Значит, однажды наденешь его на праздник.

— Там бывают праздники?

— Если нет, устроишь.

Мать сложила платье сама и разгладила юбку ладонью. Потом открыла шкаф, достала отрез хорошей синей шерсти и положила сверху.

— Мам, это заказ госпожи Рейт.

— Уже нет.

— Она внесла задаток.

— Верну.

— Зачем мне ткань?

Марта начала отвечать, но голос не вышел, и она села на край кровати, держа отрез на коленях.

— Я должна тебе что-то сшить, — сказала она наконец. — Не знаю что. Потом решим.

Эмма опустилась рядом. Мать обняла её первой — крепко, почти сердито, — а через несколько мгновений отстранилась и снова стала складывать вещи, будто слабость имела установленную продолжительность.

Йорен принёс ремень и трижды проверил застёжку. Советов он не давал, только показал, где вшил узкий карман с двумя серебряными монетами.

— У Ордена есть содержание, — сказала Эмма.

— У Ордена нет этих двух монет.

Она не стала спорить.

— Если захочешь домой, напиши одно слово: «забери». Я приеду без вопросов.

— На остров, куда пускают по разрешению Ордена?

— Сначала приеду. Потом разберусь, кто меня не пускает.

— Очень обнадёживает.

Ларс обнял её быстро и крепко.

— И ещё, — сказал он, не отпуская сразу. — Если старик скажет, что у тебя священный долг и поэтому ты обязана соглашаться со всем остальным, он лжёт.

— Освальд не похож на человека, который использует слово «священный».

— Тогда кто-нибудь другой скажет.

— Я запомню.

— Нет. Запиши.

Он принёс обрывок плотной бумаги. Эмма написала: «долг не отменяет остальных вопросов». Ларс заставил положить записку во внутренний карман.

Перед сном Эмма нашла в сумке медное кольцо, завернутое в записку Тили: «Чтобы ты не забыла море».

Тиль лежал лицом к стене и убедительно изображал сон. Эмма села рядом на край кровати. Пол под босыми ногами был холодный; в комнате пахло мокрой шерстью, потому что его куртка сохла на спинке стула со вчерашнего дня.

— Море трудно забыть, — сказала она.

— Ты не должна была найти до острова.

— Тогда следовало спрятать лучше.

— Ты всё находишь.

Он всё ещё лежал спиной. Эмма ждала.

— Я считал, — сказал Тиль в стену.

— Что считал?

— Сколько ты помнишь людей. Сначала нас пятерых. Потом бабушку, она умерла, но ты её помнишь. Потом Хенрика, госпожу Альт, лодочника, учителя. Я досчитал до сорока и бросил. — Он наконец повернулся. Глаза были сухими и слишком широко открытыми. — А там сколько?

— Не знаю.

— Все, кто жил. Ты сама сказала.

— Да.

— И они все будут в тебе одновременно.

Эмма поняла, что он думал об этом весь день — весь обед, пока взрослые спорили про Палату и жалованье.

— Я не поместился, — сказал Тиль.

Голос у него сорвался на середине слова, и он ужасно рассердился на собственный голос.

Эмма хотела сказать, что такого не бывает. Освальд весь день отказывался от удобных обещаний, и повторять за ним ложь было бы нечестно, а врать Тилию она не умела с тех пор, как ему исполнилось шесть.

Она легла рядом поверх одеяла, как ложилась, когда он болел, и заговорила в потолок.

— Слушай. Я не знаю, что там будет. Может быть, я стану путать имена. Может быть, однажды посмотрю на тебя и секунду не пойму, кто ты. Я не буду обещать, что этого не случится.

— Отличное утешение.

— Я не утешаю. Я договариваюсь. — Она повернула голову. — Если это случится, ты не будешь ждать, пока я вспомню сама. Ты подойдёшь и скажешь. Вслух, прямо, при всех, даже если будет неловко. «Я твой брат». И повторить столько раз, сколько понадобится.

— А если ты не согласишься?

— Тогда скажи, что я обещала верить.

Тиль долго молчал.

— Это плохой план.

— Ужасный, — согласилась Эмма. — Другого у меня нет.

Он подумал ещё немного и придвинулся ближе, притворяясь, что просто устраивается удобнее.

— Тогда я тоже договариваюсь, — сказал он. — Ты будешь мне писать. Не про Маяк. Про еду и про то, кто тебя разозлил. Про Маяк я и так узнаю от Ларса.

— Договорились.

— И ещё. — Он выпростал руку из-под одеяла и разжал кулак. На ладони лежало зелёное стекло, обкатанное водой до мягкости, — то самое, с берега. — Возьми. Оно бесполезное, старик же велел бесполезное.

Эмма посмотрела на стекло. Оно было тёплым от его руки и стоило ему, судя по всему, довольно дорого.

— Нет, — сказала она.

— Почему?

— Потому что тогда у меня будет твоё стекло, а у тебя ничего. — Она сомкнула его пальцы обратно. — Пусть лежит у тебя. Будет за чем возвращаться.

Тиль обдумал сделку и остался ею недоволен ровно настолько, насколько положено человеку, который на самом деле рад.

— Я подумаю, — сказал он важно. — Может, потом отдам. Я ещё решаю цену.

— Решай.

Он кивнул, повернулся на бок и через минуту заснул по-настоящему — мгновенно, как умеют только дети и очень уставшие люди. Эмма ещё долго лежала рядом и смотрела в темноту, держа стекло в кулаке, и думала, что впервые за три дня ей не страшно, а просто очень жалко.

На рассвете семья проводила её до пристани. Город ещё был серым, вода — почти неподвижной, а у лодки Освальд проверял часы, ветер и собственное терпение.

Эмма поцеловала мать, отца, обоих братьев. Когда ступила на мокрую доску, свет далёкой башни прошёл над заливом.

На середине трапа она обернулась. Марта стояла, прижав руки к фартуку. Йорен держал ладонь на плече Тиля. Ларс смотрел не на лодку, а на служителя Ордена у каната — словно заранее запоминал человека, с которого начнёт, если придётся забирать сестру.

Эмма почти вернулась.

Не из-за нового сна и не из-за страха перед чужой памятью, а из-за простого знания: завтра в мастерской откроют ставни без неё, кто-то другой подберёт нитки к платью госпожи Ден, за столом останется свободное место. До этой минуты она думала, что выбор между домом и Маяком будет большим и торжественным; оказалось, он состоит из одной доски под ногой.

Она сделала следующий шаг.

Где-то за глазами натянулась тонкая нить.

Маяк знал, что она идёт.

Глава 5

Эстен начал уменьшаться раньше, чем Эмма была готова.

Сначала исчезли лица на пристани — быстрее всего, за какие-нибудь три минуты: мать превратилась в тёмное пятно рядом с другим тёмным пятном, которое было отцом, а братья слились с портовыми рабочими и стали неотличимы от людей, которых Эмма никогда не знала. Потом крыши прижались друг к другу, шпили Верхнего города стали похожи на иглы, а мастерскую уже нельзя было отличить от соседнего дома.

Эмма сидела на кормовой скамье, обеими руками держа сумку на коленях, хотя держать её было незачем и никто её не отнимал, — в сумке лежало слишком мало для новой жизни и слишком много для короткого визита, и всю дорогу Эмма перебирала в уме, что надо было взять вместо зелёного платья.

Освальд устроился напротив. Между ними лодочник правил парусом и делал вид, что не слышит разговоров людей, которых вёз. Море было спокойным, но судно всё равно поднималось и опускалось на длинной зыби. Каждый раз, когда берег проваливался за борт, Эмма чувствовала, что оставила дома нечто важное и ещё не поняла что.

— Позавчера вы вошли в воду, — сказал Освальд.

Эмма посмотрела на свои руки.

— Мне сказали, что там никого не было.

— Там и не было. Это ничего не меняет: вы пошли. — Он поставил трость между колен и оперся на неё обеими ладонями. — Так будет ещё. Не сегодня, так через неделю. Поэтому первое, чему я вас научу, вы выучите сейчас, в лодке, пока берег ещё виден, — потому что на острове тянуть будет сильнее.

— Я думала, обучение начнётся в башне.

— Обучение начнётся, когда я решу, что вы доживёте до башни.

Он сказал это без нажима, как говорят о погоде, и от этого Эмме стало холодно по-настоящему.

— Назовите своё имя.

— Вы забыли?

— Я надеялся, что вы нет.

— Эмма Вейн.

Не Томова мать. Не женщина, потерявшая мальчика в воде. Каждое чужое имя оставалось настоящим и отдельным.

— Где вы?

Она оглянулась. Вода, серое небо, влажные доски. Впереди остров, но до него ещё далеко.

— В лодке.

— Это предмет, а не место.

— В заливе Эстена, на пути к Тьерну.

— Лучше. Теперь назовите близкого человека. Живого.

Эмма едва не сказала «семья», но Освальд ждал одно имя.

— Тиль.

— Почему он?

— Вы просили имя, а не объяснение.

Старик слегка приподнял брови.

— Возможно, Маяк не совсем ошибся. Теперь телесное ощущение. Не страх и не печаль — это чувства.

Эмма прислушалась к телу.

— Деревянный край скамьи давит под коленом. Ладони вспотели. Слева в сапог попала песчинка.

— Выберите одно.

— Песчинка.

— Имя, место, близкий человек, ощущение. Четыре опоры. Повторите.

Она повторила.

— И это остановит меня в воде?

— Иногда.

— А если нет?

— Тогда потребуется человек снаружи, который знает ваши ответы и достаточно упрям, чтобы повторять вопросы. Позавчера им оказался ваш брат, и он справился без единого правила. Дальше у вас его не будет.

— А кто будет?

— Пока я.

Слово «пока» затерялось в хлопке паруса, но Эмма его услышала.

— А потом?

— Потом вы научите кого-нибудь. Не Хранителя — Хранителя выбирает Маяк. Человека, которому доверите себя вытаскивать.

Эмма попробовала представить такого человека и не смогла. Ларс был далеко и оставался в городе. Тиль был ребёнком.

— У вас он есть?

— Есть.

— Кто?

— Бригитта Солль, старшая распорядительница. Вы познакомитесь сегодня, и она вам, скорее всего, не понравится. — Освальд смотрел на остров. — Это и делает её пригодной. Мёртвые не могут окликнуть меня снаружи, а живых, которые слишком меня любят, я не стал бы слушать.

Она посмотрела на остров. Тьерн поднимался из тумана постепенно: чёрные скалы, полоса низких строений, башня. Маяк не был похож на обычные береговые огни. Те прятали пламя за стеклом и крышей. Здесь огромный молочно-белый кристалл стоял в открытой каменной короне, будто ни дождь, ни ветер не имели над ним власти.

Свет проходил сквозь туман, не разгоняя его и не освещая ничего вокруг, — просто шёл насквозь, как проходит сквозь воду брошенный камень, и от этого казался не источником, а чем-то, что движется само по себе и по своим надобностям.

Эмма почувствовала башню раньше, чем разглядела окна. Тонкая нить за глазами, натянувшаяся на пристани, стала шире. По ней скользили слабые чужие ощущения: запах хлеба, боль в сломанном пальце, чьё-то нетерпение, детский восторг при виде лодки. Они были настолько короткими, что не складывались в мысли.

Среди этих обрывков на одно мгновение возникла мастерская — не картинка, а именно ощущение: знакомый нажим кольца ножниц на большой палец, шорох раскрытого сукна, съезжающего со стола, и голос Марты, говорящий что-то за спиной таким тоном, каким она говорила только про работу. Эмма резко обернулась к городу, но ощущение уже сменилось горечью незнакомого лекарства.

— Я чувствую мать.

— Возможно.

— Что значит «возможно»?

— Вы чувствуете эпизод, похожий на неё. Пока не научились различать дороги, сходство будет притворяться уверенностью.

— Значит, даже когда я уверена...

— Особенно тогда полезно проверить.

— Он всегда такой? — спросила она.

— Какой?

— Будто вокруг много людей, но все находятся за стеной.

Освальд посмотрел внимательнее.

— Для ученика в первый день — нет.

— Это плохо?

— Это означает сильную связь. Хорошей или плохой её сделаете вы и обстоятельства.

К самому острову лодка не пошла. Она причалила к низкой каменной площадке шагов двадцати в поперечнике, со всех сторон окружённой рифами, за которыми не было ничего, кроме воды, — и Эмма, оглядевшись, не увидела ни моста, ни второй лодки, ни какой бы то ни было причины считать, что путь продолжается.

Эмма оглянулась на лодочника.

— Мы ждём другую лодку?

— Ждём дорогу, — сказал Освальд.

Сначала море лишь отхлынуло от верхушек чёрных камней. Затем между волнами показалась ровная плита, за ней следующая. Вода стекала с них серебряными лентами. Из залива медленно возникала узкая дорога — не мост, а цепь уложенных в дно плит, ведущая к подножию острова.

— Дважды в сутки, — сказал Освальд. — В хорошую погоду у нас около сорока минут. Сегодня тридцать четыре.

— А если не успеть?

Лодочник ухмыльнулся.

— Тогда узнаете, почему я не везу до башни.

Освальд первым ступил на мокрый камень. Трость звякнула. Эмма перекинула ремень сумки через плечо и последовала за ним.

Плиты были широкими, но вода с обеих сторон делала дорогу тоньше. Волны перекатывались через края и цеплялись за сапоги. Эмма смотрела вперёд, на спину Освальда, и держалась ближе, чем требовала осторожность.

На середине дороги её качнуло.

Ничего не появилось — ни следов, ни голоса, ни ребёнка под водой. Просто на мгновение стало непонятно, в какую сторону она идёт и зачем, и вода с обеих сторон показалась одинаково приемлемой.

Освальд остановился, не оборачиваясь.

— Смотрите на мою спину, — сказал он. — Не на воду.

— Откуда вы знаете?

— Здесь качает всех. Море и камень тянут по-разному, а связь у вас уже открыта. — Он подождал, пока она поравняется с ним. — На острове будет легче. Первую неделю не подходите к воде одной и не считайте это унижением.

Эмма посмотрела на залив. Он был серым и пустым.

— А если я не удержусь?

— Тогда я вас окликну. Пока — я.

Он снова пошёл вперёд, и она обнаружила, что действительно легче смотреть в чужую спину, чем под ноги.

— Маяк показывает вам больше, чем должен до принятия, — сказал он.

— Почему?

— Если бы я знал, выбор Хранителей был бы профессией, а не многовековым унижением человеческой любви к порядку.

Они пошли дальше. Эмма теперь смотрела только на наконечник его трости.

У подножия острова их ждала женщина в тёмном платье и коротком сером плаще. Волосы были собраны без единой выбившейся пряди. За ней стояли двое служителей и четверо стражей.

— Старшая распорядительница Бригитта Солль, — представил Освальд. — Она отвечает за всё, за что не отвечаю я, а иногда и за то, за что отвечаю.

Бригитта не улыбнулась.

— Эмма Вейн.

Приветствия не получилось — только сверка записи.

— Госпожа Солль.

— Дорога далась тяжело?

Эмма оглянулась на Освальда. Он не собирался отвечать за неё.

— Я увидела чужие следы и едва не сошла в воду.

Один из стражей поднял глаза. Бригитта осталась неподвижной.

— До входа в башню?

— Да.

— Связь проявляется необычно рано.

— Я уже сообщил, — сказал Освальд.

— Вы сообщили, что она видит фрагменты. Не что Маяк открывает ей дороги на внешних плитах.

— Теперь вы осведомлены полнее.

Бригитта снова посмотрела на Эмму. В её взгляде не было неприязни. Хуже: в нём была оценка риска.

— Мы ожидали преемника старше.

— Я тоже, — сказала Эмма.

Освальд кашлянул, скрывая что-то похожее на смех.

— Возраст не входит в решение Маяка? — спросила Бригитта у него.

— Если входит, он не сообщил критерии.

— Совет подготовил учебную программу для кандидата с опытом службы.

— Тогда впервые за сто лет Совету придётся исправить программу после встречи с реальностью.

Эмма почувствовала себя обстоятельством, испортившим хорошо составленный документ.

— Я умею читать, считать и вести заказы, — сказала она. — И не падаю в обморок при виде крови.

Бригитта перевела взгляд на мокрый край её платья.

— Это начало списка, не конец.

— Я и не сказала, что конец.

Впервые оценка в глазах распорядительницы изменилась. Риск остался. Рядом с ним появилось внимание.

От подножия к башне вела лестница. Эмма насчитала сто двадцать семь ступеней и перестала считать, когда нить за глазами превратилась в давление. Перед ними выросли двери — две створки чёрного дерева, окованные потемневшей бронзой. На металле были вырезаны фигуры людей, животных и существ, которых она не знала.

Бригитта отперла верхний замок, Освальд — нижний. Ключи были разные и хранились у разных людей: Эмма отметила это раньше, чем поняла зачем.

— Внутренний зал открывают двое, — сказал Освальд, наваливаясь плечом. — Всегда. Даже если один из них Хранитель.

Створки пошли туго, с низким деревянным стоном, и по ступеням потянуло холодом.

Стражи отступили от порога, не дожидаясь приказа. Один служитель перекрестил грудь двумя пальцами и отвернулся.

За дверями лежал полумрак. Свет кристалла проходил через круглое отверстие высоко в своде и падал на каменный пол. Эмма ступила через порог.

Мир раскрылся.

Она не увидела отдельного воспоминания. Сразу все.

Человек целовал любимую женщину в тесной кухне. Ребёнок умирал от жара. Солдат счищал кровь с сапога. Кто-то прятал яблоко за спиной. Кто-то впервые держал новорождённого. Кто-то желал смерти собственному отцу и стыдился не желания, а облегчения. Голод, смех, тесная обувь, молоко, море, нож, шерсть, песня — миллионы ощущений не сменяли друг друга, а существовали одновременно.

Эмма закричала. Или это закричали тысячи людей.

Она перестала знать, где её руки. Имя исчезло первым — слишком маленькое слово для такого множества. Потом дом. У неё были сотни домов, ни одного, комната за мастерской, дворец, лодка, пещера под водой.

Она одновременно была ребёнком, не умеющим говорить, и стариком, забывшим слова. Чувствовала хвост там, где должно быть продолжение позвоночника, жабры под рёбрами, чужой шрам на лице, живот женщины перед родами. Человеческие жизни смешивались с памятью существ, для которых море не было границей.

Эмма попыталась закрыть глаза и обнаружила тысячи закрытых глаз.

Кто-то говорил рядом, но человеческий голос тонул в остальных.

Тогда среди света возник Тиль.

Не настоящий брат — память о нём. Он лежал лицом к стене в тёмной комнате, пахнувшей мокрой шерстью, и говорил в стену, что не поместился.

Тиль.

Близкий человек.

За ним вернулась песчинка в левом сапоге. Боль в пальцах, сжимавших ремень сумки. Камень под коленями.

— Эмма Вейн, — выговорила она.

Чужие жизни отступили не далеко, лишь на расстояние дыхания.

Освальд стоял перед ней, держа за плечи. Бригитта приказывала кому-то закрыть внутренний проход. Эмма опустила взгляд и увидела, что сидит на полу.

Её вырвало на серый камень.

Первым движением Эмма попыталась извиниться перед служителем, подбежавшим с полотном. Вместо слов из горла вышел короткий щёлкающий звук — так существо из подводной пещеры звало детёныша.

Освальд присел рядом.

— Не говорите, пока не найдёте свой рот.

Совет показался нелепым и потому помог. Эмма ощутила язык, зубы, рассечённую губу. Всё принадлежало ей.

— Эмма Вейн, — повторила она уже своим голосом.

— Я вспомнила его раньше себя, — сказала она.

— Кого?

— Брата.

Освальд помог ей подняться.

— Поэтому близкий человек и входит в четыре опоры.

— Сколько там воспоминаний?

Он посмотрел вверх, туда, где над сводом сияло ядро Маяка.

— Не сколько, — сказал Освальд. — Чьи.

За открытыми дверями ветер изменил голос. Эмма обернулась к заливу. Чёрные плиты уже исчезали под водой; последний кусок дороги блеснул и погрузился.

Путь домой закрылся до следующего отлива.

— Чьи? — повторила она.

Освальд отпустил её плечо.

— Всех.

Глава 6

Роберт Ренн приносил к Маяку только то, что мог назвать.

Сегодня это были кровь убитого ювелира, судебное разрешение на поиск последних двух часов его жизни, схема мастерской и шесть вопросов, записанных по степени важности. Седьмой он держал в голове: почему человек, заперший дверь изнутри, впустил собственного убийцу?

Освальд просмотрел бумаги, пока Роберт снимал мокрые перчатки.

— Вы указали прилив на семь минут раньше.

— Лодочник указал.

— Тогда передайте ему мои соболезнования. Море опять ошиблось.

Они работали вместе достаточно долго, чтобы это считалось приветствием.

Внутренний зал оставался таким же, каким Роберт увидел его пять лет назад: круглый стол, два стула, серый камень и свет кристалла, которому не требовалось ни масла, ни разрешения Совета. Изменился только Освальд. Или Роберт начал замечать. Старик дольше распрямлял пальцы после чтения, осторожнее переносил вес на правую ногу.

— Вы завтракали? — спросил Роберт.

— Бригитта уже составила по этому поводу обвинительное заключение.

— Значит, нет.

— Ювелир сначала.

Кровь погибшего хранилась в стеклянной трубке на белом полотняном лоскуте, и печатей на трубке было две: внешняя судебная и внутренняя, орденская, которую по правилам мог сломать только Хранитель. Роберт сломал первую, Освальд — вторую, и оба сделали это молча, потому что за пять лет процедура успела стать чем-то вроде рукопожатия. Затем следователь прочитал разрешение вслух. Тяжкое убийство. Поиск личности нападавшего, обстоятельств входа и местонахождения пропавших камней. Запрет на описание посторонних частных эпизодов.

— Последний подтверждённый посетитель? — спросил Освальд.

— Бывший подмастерье, за сорок минут до смерти. Соседи слышали ссору. Его кровь на разбитом стакане, его следы у сейфа.

— Вы ему не верите.

— Я не верю следам, которые слишком стараются быть понятными.

Освальд одобрительно хмыкнул. Он положил два пальца на стекло.

Свет над ними изменился.

Роберт не входил в память вместе с Хранителем. Он делал это однажды, на первом общем деле, и после трёх минут чужой жизни двое суток называл свою комнату именем незнакомой улицы. Теперь он ждал снаружи, следя за дыханием Освальда и часами.

Лицо старика оставалось спокойным. Только зрачки двигались под закрытыми веками, будто он читал слишком быстро.

Через девять минут Освальд сказал:

— Серебряный сосуд.

— Что с ним?

— Высокий, выпуклый, у восточной стены. Изъят?

Роберт сверился со схемой.

— В описи есть кувшин.

— Не кувшин. Сосуд для омовения камней. В нём отражение.

— Чьё?

Освальд не ответил. Его пальцы сильнее прижались к трубке. Свет на камне вытянулся тонкой полосой, и Роберт увидел лишь собственную тень.

Ещё через две минуты старик убрал руку.

— Имя, — напомнил Роберт.

— Освальд Крей.

— Место.

— Внутренний зал Маяка. Утомительно знакомый.

— Близкий человек.

Освальд открыл глаза.

— Сегодня придётся назвать вас. Не гордитесь.

— Ощущение.

Старик коснулся колена.

— Достаточно.

Он выпил полстакана воды, посидел с закрытыми глазами ещё с полминуты и только потом начал отчёт — в том же порядке, в каком делал это последние пять лет: сначала то, что подтверждается, потом то, что опровергается, потом остальное. Бывший подмастерье действительно ссорился с ювелиром и действительно разбил стакан. Ушёл через переднюю дверь, не приближаясь к сейфу. Позже хозяин сам собрал осколки и перенёс кровь на пальцах к металлической ручке.

Настоящий убийца пришёл после закрытия. Состоятельный клиент, проигравший камни и решивший, что вещи, отданные на хранение, всё ещё принадлежат ему. Ювелир впустил его, потому что знал двадцать лет. Когда повернулся к сейфу, клиент ударил.

— Лицо? — спросил Роберт.

— В прямом взгляде нет. Нападавший стоял за правым плечом. Но ювелир видел его в выпуклом серебре. Искажённо, достаточно для опознания. Перстень с чёрным камнем, разорванное левое ухо, шрам через подбородок.

Роберт положил перо.

— Герд Валлен.

— Вы уверены?

— В городе один человек с разорванным ухом и таким перстнем. Его имя третье в списке клиентов, и до сегодняшнего дня никто в управлении не решался произнести его вслух первым.

— Теперь произнесли.

— Теперь у меня есть отражение в серебре.

— Камни?

— Взял три мешочка. Один уронил за сундуком.

— В отчёте осмотра нет.

— Значит, ваши люди сумели не найти вещь, местоположение которой теперь знают.

Приятная возможность улучшить показатели.

Роберт не потянулся за приказом на арест.

Сначала записал сосуд, угол отражения и расстояние до сундука. Потом отдельно — приметы клиента. Рассказ Маяка мог указать, где искать. Не заменить найденное.

— Подмастерье останется под стражей до осмотра, — сказал он.

— Почему?

— Потому что, если я освобожу его сейчас, обвинитель завтра заявит, что Хранитель подменил следствие видением. Найдём мешочек, проверим кровь на ручке, установим, кому принадлежит перстень. После этого выпустим.

— До полудня?

— Если мои люди научатся смотреть за сундуки.

— Вы требуете слишком многого от государства.

Роберт поставил рядом с каждым пунктом фамилию исполнителя. Освальд наблюдал с едва заметным одобрением. Пять лет назад они спорили об этом почти на каждом деле. Тогда Роберту казалось бессмысленным искать слабые обычные следы после того, как Маяк уже показал сильное воспоминание.

Освальд заставил его однажды присутствовать на разборе старого приговора. Архив сохранил честный страх свидетеля и честную уверенность погибшего — оба ошибались в личности человека за дверью. С тех пор Роберт различал оригинальное воспоминание и объективную истину даже в собственных отчётах.

Дело почти закрылось. Почти — потому что Освальд не отодвинул трубку.

— Было ещё что-то, — сказал Роберт.

— За девять дней до убийства. Посетитель в хорошем пальто. Ювелир видел его прямо, но лицо... не удерживается. Не обычная забывчивость. Черты есть, затем расплываются. Голос превращается в гул.

— Он угрожал?

— Напротив. После разговора ювелир испытывал благодарность.

— За что?

— Причины нет. Или дороги к ней нет.

Роберт открыл чистую страницу.

— Связь с убийством?

— Не вижу. Камни, клиент, долг — всё происходит позже и остаётся ясным. Размытый посетитель мог быть лекарем, кредитором, любовником. Ювелир незадолго до смерти жаловался на головные боли.

— Настойки?

— Возможно. Болезнь, лечение, старая травма. Запишите аномалию, не превращайте её в ответ.

Роберт записал. На полях добавил: красный воск на принесённом письме; хорошо одет; чувство благодарности без события.

Освальд закрыл чернильницу и потянулся за кружкой.

— Так как его зовут? — спросил он. — Клиента. Который убил.

Роберт поднял взгляд.

Прошло минут двадцать. За это время они дважды произнесли имя вслух, и один раз его произнёс сам Освальд, диктуя приметы.

— Герд Валлен, — сказал Роберт.

— Разумеется.

Старик ответил слишком быстро — так отвечают, когда подхватывают чужое слово, а не вспоминают своё.

— Вы забыли.

— На секунду. После выхода случается.

— За пять лет не случалось ни разу.

— За пять лет мне не было девяноста одного.

Роберт медленно закрыл папку.

Он не собирался ничего проверять. Он вообще редко проверял людей вне допроса, потому что знал цену такому вниманию и не любил его применять к тем, кого уважал. Но полгода назад Освальд забыл, что уже отвечал на письмо Палаты, а весной — что при нём меняли стекло в северном шкафу, и Роберт оба раза списал это на возраст и оба раза записал.

Теперь записей стало три.

— Что было до ювелира? — спросил он.

— Гельм Арно. Кузнец. Две дочери. Просмотр по просьбе старшей, чтобы установить место семейной закладной.

— А имя, которое вы забыли, вы забыли впервые?

Освальд поставил кружку.

— Вы ведёте счёт, — сказал он.

— Веду.

— С каких пор?

— С осени.

Некоторое время оба молчали.

— Не вносите это в отчёт, — сказал наконец Освальд.

— Не внесу. Но и вычёркивать не стану.

Роберт не стал настаивать. Он слишком хорошо знал цену уверенности, которая объявляет единичную странность закономерностью.

Три года назад женщина видела убийцу мужа при свете уличного фонаря. Назвала рост, одежду, шрам на щеке. На опознании указала на портового грузчика и не дрогнула ни разу. Роберт поверил не её словам — он любил повторять себе это, — а согласованности показаний, времени и чужих долгов.

Через месяц выяснилось, что убийцу она видела в отражении лавочного стекла. Шрам находился на другой стороне лица. Невинный провёл в тюрьме сорок семь дней; настоящий преступник успел покинуть Вальден.

С тех пор уверенность свидетеля значила для Роберта только одно: человек уверен.

Он сложил материалы.

— Вы сегодня едете в город?

Освальд посмотрел на него поверх кружки.

— Откуда вы знаете?

— Компас в кармане. Вы берёте его с острова и никогда не носите по залам.

— Иногда я забываю, как утомительно ваше внимание.

— Куда вы едете?

— Никуда. Теперь уже никуда. — Освальд поставил кружку и посмотрел в неё, будто там могла найтись формулировка помягче. — Я собирался сказать это в конце, но вы всё равно испортите себе весь день, если узнаете последним. Маяк выбрал преемницу. Я привёз её позавчера утренним отливом.

Роберт решил, что ослышался.

— Вы говорили, что это может занять годы.

— Маяк не ознакомился с моим расписанием.

— Кто?

— Девушка из швейной мастерской в нижнем городе. Эмма Вейн. Девятнадцать лет.

— Из мастерской.

— Вы сейчас произнесли это так, что я почти пожалел, что рассказал.

— Я не то имел в виду.

— Вы ровно то и имели в виду, и я даже не стану возражать. Никакой подготовки. Никакого права. Ничего, кроме того, что кристалл позвал именно её, а меня, когда звал, никто не спрашивал тоже. — Он помолчал. — Мне было двадцать семь, я служил младшим писарем в порту и умел красиво переписывать чужие накладные. Хенрик, увидев меня, вышел из комнаты и не разговаривал со мной два дня.

— И вы всё же научились.

— Я научился за одиннадцать лет. У неё столько нет, потому что столько нет у меня.

Роберт положил ладонь на схему мастерской ювелира и разгладил её, хотя она не была смята.

— Она наверху?

— В восточной комнате. И сегодня вы её не увидите.

— Почему?

— Потому что позавчера она впервые вошла в зал и провела ночь, повторяя имена своих братьев. Знакомство со следователем, который уже решил, что она помеха, подождёт до конца недели.

Роберт посмотрел на трубку с кровью ювелира. На стол, за которым они раскрыли семнадцать убийств, три похищения и столько лжи, сколько не стоило считать. Освальд знал, какие вопросы Роберт задаст, раньше, чем тот открывал рот. Он умел остановиться перед чужой тайной и пройти через чужой ужас, не назвав догадку фактом.

— И вы собираетесь передать ей судебные просмотры?

— Не сегодня.

— Когда?

— Когда научится. Заранее этому научить нельзя: пока кристалл не позвал, входить некому и не с чем. Мы не готовим преемников, Роберт. Мы получаем их готовыми ровно настолько, насколько повезёт, и дальше выкручиваемся.

— А если не выкрутитесь?

Освальд закрыл крышку чернильницы.

— Раньше вы приносили воспоминания мне. Теперь будете приносить ей.

— Это не ответ.

— Это единственный ответ, который у меня есть.

— Нет, — сказал Роберт. — У вас есть ещё один ответ. Вы можете не допускать её к моим делам, пока она не выдержит проверку.

— К вашим делам?

— К судебным ключам.

— Вот теперь формулировка лучше.

Освальд вернулся к столу и вытащил чистый лист.

— Составьте проверку.

— Что?

— Вы знаете, какие ошибки в просмотре убивают расследование. Я знаю, какие убивают Хранителя. Объединим списки.

Роберт не сел.

— Вы хотите, чтобы я участвовал в её обучении?

— Я хочу, чтобы вы изложили требования к специалисту, с которым вам придётся работать. Участие пока состоит из чернил.

— Вы уже решили, что я буду с ней работать.

— Это решил Маяк. Я лишь наслаждаюсь последствиями.

Роберт всё-таки взял лист. Написал первое: различать увиденное, вывод и подтверждённый факт. Второе: прекращать просмотр при выходе за пределы разрешения. Третье: после каждого входа называть четыре опоры личности без подсказки.

Освальд добавил: не скрывать остаточные эмоции.

Роберт хотел возразить, что чувства не относятся к делу. Вспомнил собственные двое суток на незнакомой улице и промолчал.

Снаружи ударил утренний колокол. До отлива оставалось меньше часа. Освальд поднялся, и на этот раз движение далось ему заметно тяжелее.

Роберт собрал бумаги. Внизу его ждала лодка, в городе — обыск дома Герда Валлена, серебряный сосуд и человек, которого следовало выпустить до полудня. Реальные задачи. Проверяемые.

Уже на лестнице он услышал, как Освальд открыл шкаф. Металл тихо ударил о дерево. Потом дверца закрылась.

Роберт задержался.

— Что там?

— Пустые печати.

Ответ пришёл без паузы.

Роберт мог вернуться и потребовать показать. Их привычный порядок позволял вопросы, но не обыск Хранителя без основания.

Он отметил про себя звук и продолжил спуск.

У двери он обернулся.

— Как её фамилия?

Освальд помолчал, прислушиваясь не то к памяти, не то к кристаллу.

— Вейн. Эмма Вейн.

Роберт записал имя на краю схемы, чтобы больше не спрашивать.

Внизу, у самого выхода на причал, кто-то стоял в тени арки — невысокая фигура в наспех наброшенном плаще, с волосами, ещё влажными от морского ветра. Она не пряталась; просто оказалась там, где заканчивалась лестница, и не успела решить, отступить ей или поздороваться.

Роберт увидел лицо какую-то долю секунды: молодое, невыспавшееся, слишком внимательное для человека, который ничего не знает о деле.

Он коротко кивнул, как кивают чужой прислуге, и вышел на ветер.

Уже в лодке, раскладывая на коленях мокрую схему, он поймал себя на том, что помнит не лицо, а руки: на левой было три свежих следа от иглы, а правая держала край плаща тем особым захватом, каким держат ткань люди, знающие её вес.

Это ничего не доказывало. Он всё равно записал.

Глава 7

Утром Эмма узнала, что Маяк не был храмом.

Её разбудили в полной темноте, и разбудили не колоколом и не служителем с фонарём, как она почему-то представляла себе накануне, а коротким стуком в дверь и голосом, сообщившим из коридора, что завтрак снимают через четверть часа и что вчера двое уже опоздали. В трапезной пахло ячменной кашей и мокрой шерстью сохнувших плащей, за длинным столом сидело человек двадцать, и разговор, который Эмма застала на середине, шёл про уголь — про то, что прошлогодний был лучше, что нынешний берут не у тех и что зимой это ещё скажется. Никто не встал. Двое кивнули, один страж подвинулся, освобождая край скамьи, и на этом торжественность закончилась.

Башня оказалась вовсе не башней, а небольшим поселением, обнесённым стеной, — и Эмма, представлявшая себе всю дорогу нечто вроде храма с гулкими пустыми залами, никак не могла соединить это представление с бельевой верёвкой, натянутой поперёк двора. Кухня, прачечная, лекарская, комнаты служителей, оружейная, архив разрешений, гостевое крыло, сад за внутренней стеной. Тридцать с лишним человек, дровяные сараи, кошка на бочке, спор о зимнем режиме отопления.

— Южное крыло топим ради трёх пустых комнат, — говорила Бригитта, идя впереди по галерее. — Если Совет примет зимний режим на две недели раньше, сэкономим пятую часть.

— В южном крыле живёт лекарь, — заметил Освальд.

— В одной комнате.

— Две остальные пустуют, потому что в них холодно.

— Именно.

Эмма шла между ними в простом тёмном платье, которое ей выдали вместо дорожного. Оно было почти впору и совершенно чужим.

В кухне повариха — крупная женщина с обожжённым запястьем — попросила её не касаться медного половника без спроса, и попросила не сразу, а после того, как минуты полторы собиралась с духом и вытирала руки.

— Он принадлежал прежнему повару сорок лет, — пояснила она. — Господин Крей говорит, вещь открывает только то, в чём участвовала. Но мне не хочется, чтобы кто-то видел, сколько раз я пересолила суп.

Она сказала это шутливо и всё же переставила половник дальше от края.

У прачечной служительница оборвала фразу на середине, стоило Эмме подойти на десять шагов, и принялась разглядывать бельё с преувеличенным вниманием. Двое стражей у нижней лестницы поклонились так глубоко, как не кланялись, судя по всему, даже Совету. А молодой писарь, пытаясь одновременно посторониться, поклониться и не выронить бумаги, выронил бумаги.

— Они меня боятся? — тихо спросила Эмма.

— Они боятся человека, который потенциально способен увидеть всё, чего они стыдятся, — сказала Бригитта. — Постарайтесь не принимать это лично.

— Как не принимать лично страх передо мной?

— Практика.

— Или можно вести себя так, чтобы со временем они боялись меньше, — хмыкнул Освальд.

Бригитта ничего не ответила, но следующему служителю сама велела не кланяться.

Всё это происходило снаружи.

Внутренний зал стоял отдельно.

К нему вела единственная лестница из внутреннего двора — сто двадцать семь ступеней, которые Эмма вчера сосчитала и сегодня сосчитала снова, потому что сбилась. Ни кухни, ни жилья, ни складов по дороге: голый камень, узкие окна, два поста стражи. Наверху — двери чёрного дерева, окованные потемневшей бронзой, с двумя замками и двумя ключами у разных людей.

За дверями было холодно и очень тихо.

Круглая комната под самой короной. Свет кристалла падал сверху через отверстие в своде — не столбом, а ровным рассеянным сиянием, от которого не было теней. Пол выложен серым камнем, и в нём, шагах в трёх от порога, шло кольцо камня почти чёрного: круг шириной в две ладони, замкнутый, без единого шва.

В центре круга стояла чаша.

Не сосуд и не алтарь — грубая каменная плочка размером с две сложенные ладони, лежащая в круглом гнезде невысокой тумбы. Эмма подошла и коснулась края. Камень был холодным. Не прохладным, как всё в этом зале, а именно холодным, будто его только что вынули из зимней воды.

— Она вынимается, — сказал Освальд, заметив её взгляд. — Тяжёлая, вдвоём. За мои шестьдесят лет это делали дважды: когда чинили пол и когда умирающий свидетель не мог подняться по лестнице. Оба раза Совет спорил неделю.

— Она всегда такая, — сказал Освальд. — Летом на ней выступает роса. Никто не знает почему.

Вдоль стены стояли три низких табурета — за кругом, не внутри. Больше в зале не было ничего.

У самой двери, снаружи, за конторкой сидел худой служитель и переписывал что-то в толстую тетрадь. Он поднялся, когда они вошли, и снова сел, когда Освальд махнул рукой.

— Эрик ведёт журнал зала, — сказал старик. — Кто вошёл, когда, с чем, когда вышел. Шестьдесят лет одна и та же тетрадь, только почерки меняются.

— И вас он тоже записывает?

— Особенно меня.

— И это всё?

— А чего вы ждали?

Эмма не знала. Механизмов, наверное. Рычагов, зеркал, чего-нибудь, что можно повернуть.

— Я думала, есть... устройство.

— Устройства ломаются и работают без вас. Здесь ломается только Хранитель, и без него не работает ничего. — Освальд опустился на табурет, вытянув больную ногу. — Садитесь. Пока не пришли просители, я расскажу, как это происходит. Слушайте внимательнее, чем вам сейчас хочется: половину людей губит не сила Маяка, а то, что они не дослушали.

Эмма села на камень у его ног.

— Ключ кладут в чашу, — начал Освальд. — Сама чаша не делает ничего. Она не открывает, не хранит и не помнит. Это место, где связь возможна, — как порог, на котором удобно стоять. Могло быть и другое место, просто это выбрали шестьсот лет назад и с тех пор не меняли.

— А ключ?

— Кровь, волос с корнем, кусочек ткани с живыми клетками. Такой ключ ведёт ко всей жизни человека — целиком, от первого дня. Значимая вещь ведёт только туда, где сама побывала. Разница огромная, и вы её почувствуете руками раньше, чем поймёте головой.

— Дальше.

— Дальше вы говорите вслух три вещи. Чей это ключ. Что вы ищете. И чего искать не будете.

Эмма подождала.

— Это молитва?

— Это верёвка, — сказал Освальд. — Когда поле откроется, у вас не останется мыслей — только направления. Всё, что вы произнесли вслух перед входом, останется с вами как ориентир. Всё, чего не произнесли, растворится. Я видел Хранителя, который поленился назвать границу, потому что «и так понятно». Он вышел через шесть часов и три недели считал себя вдовой рыбака из Ланты.

— Он поправился?

— Отчасти.

Освальд поднялся, подошёл к чаше и положил на её край раскрытую ладонь.

— А это — самое важное, и это не про магию. Пока человек, чей ключ лежит в чаше, держит руку на камне, связь стоит. Уберёт руку — оборвётся. Не через минуту, не «по завершении процедуры». Сразу.

Эмма посмотрела на его ладонь. Старая кожа, вздутая вена, тёмное пятно у большого пальца.

— То есть он может остановить меня в любой момент.

— В любой. Не спросив, не объяснив, посреди фразы. — Освальд убрал руку. — Некоторые убирают. Иногда за секунду до того, как я нашёл бы то, ради чего они пришли. И это их право, а не сбой в работе.

— А если человек мёртв? Или без сознания?

— Тогда руки нет.

Он сказал это просто, и Эмма вдруг поняла, что весь их разговор шёл именно к этой фразе.

— И тогда?

— Тогда решает кто-то другой вместо него. Суд, если дело тяжкое. Я, если ждать нельзя и людям грозит смерть. — Освальд посмотрел на неё. — Запомните ощущение, которое у вас сейчас в животе. Оно правильное. Каждый раз, когда чужой руки на камне нет, оно должно у вас появляться. В тот день, когда перестанет, уходите со службы.

Эмма кивнула, не доверяя голосу.

— Есть четвёртый, — продолжил старик уже обычным тоном, — и он сидит вот здесь.

Он постучал тростью по табурету за кругом.

— Внешний. Он не видит воспоминания и не входит. Он видит вас: дыхание, зрачки, пальцы. Его работа — окликать вас по опорам и не пускать дальше того, что вы сами называли вслух. Хороший внешний спасает Хранителя примерно раз в год. Плохой — не спасает никогда, зато очень утешительно рассказывает Совету, что всё было по правилам.

— Кто был вашим?

— Разные люди. Сейчас Бригитта, когда не занята углём.

— А у меня?

— Пока я. — Освальд оглядел пустой зал. — Учтите: внутрь круга не входит никто. Ни Совет, ни стража, ни государство, ни родня владельца. Это не суеверие. Просто чем больше людей стоит рядом с чашей, тем труднее человеку убрать руку.

До полудня в зал просителей поднялись четверо.

Освальд принимал их внизу, в приёмной комнате с окном на залив, и Эмма впервые увидела, что отказ занимает больше времени, чем согласие.

Женщина хотела узнать, изменял ли ей муж. Старик просил найти, куда двоюродный брат дел отцовские часы. Купец требовал память слуги, подозреваемого в краже серебра, — Освальд спросил, проверены ли ломбарды, счета и остальные работники, услышал, что нет, и купец ушёл, обещая пожаловаться Совету.

Четвёртым был отец.

Ему было лет сорок пять, он держал шляпу обеими руками и говорил очень ровно, потому что иначе, видимо, не мог. Дочь нашли в реке три недели назад. Следствие не обнаружило преступления. Он хотел увидеть последние минуты.

— Не чтобы кого-то обвинить, — сказал он. — Я знаю, что никого нет. Мне нужно знать, было ли ей страшно.

Освальд молчал дольше, чем во всех предыдущих случаях.

— Она когда-нибудь говорила вам, что не хочет, чтобы вы это видели?

— Мы не говорили о таком. Ей было девятнадцать.

— Тогда я не знаю, разрешила бы она.

— Она моя дочь.

— Да, — сказал Освальд. — И её последние минуты — тоже её.

Мужчина не закричал и не стал спорить. Он посидел ещё немного, глядя в пол, потом поблагодарил и вышел, всё так же держа шляпу обеими руками.

Эмма подошла к окну и стояла там, пока не перестало сводить горло.

— Вы могли посмотреть, — сказала она наконец. — Ему стало бы легче.

— Возможно.

— Тогда почему?

— Потому что легче стало бы ему, а память её. — Освальд закрыл журнал. — Я делал иначе. Тридцать лет назад одной матери я показал, как умирал её сын. Она просила так же тихо, как этот человек. Через полгода она повесилась, и я до сих пор не могу решить, связано это или нет, — и именно поэтому больше не решаю за мёртвых.

Он поднялся, тяжело опираясь на трость.

— Способность войти не освобождает нас от обязанности сначала постучать. Это единственное, что я хочу, чтобы вы усвоили в первую неделю. Остальному научитесь.

После обеда в приёмной ждал Виктор Хальд.

Эмма видела его имя в газетах. Уполномоченный Палаты свидетельств выглядел так, словно был напечатан там же: безупречный чёрный сюртук, серебряная булавка у воротника, гладко зачёсанные волосы. Даже дорожная сырость не решилась испортить его сапоги.

— Господин Крей. Госпожа Солль. — Он поклонился Эмме. — Госпожа Вейн. От имени Палаты поздравляю с избранием.

— Спасибо, — сказала Эмма. — Простите, я не знаю, чем занимается Палата.

Освальд издал звук, который при желании можно было принять за кашель.

Хальд, к его чести, не смутился.

— Тогда позвольте объяснить, это недолго. Представьте, что вы видели убийство. Единственная улика — вы сами. Убийца знает ваше имя, ваш дом и вашу мать. До суда полгода. Что с вами будет?

— Меня убьют.

— Обычно раньше. — Он сказал это без всякого удовольствия. — Палата свидетельств существует, чтобы этого не происходило. Мы даём таким людям другое имя, другой город, работу и деньги на первое время. Мы прячем их семьи. Мы держим реестры, которые нельзя открыть по обычному запросу, потому что один открытый реестр — это двадцать похорон.

— Сколько таких людей?

— Сейчас под защитой около четырёхсот. За тридцать лет — больше трёх тысяч.

Эмма представила три тысячи человек, которые ходят по улицам под чужими именами и не могут написать матери. Мысль оказалась хуже, чем она ожидала.

— Они соглашаются?

— Почти всегда. Альтернатива очень убедительна.

— «Почти» — это сколько?

Хальд впервые сделал паузу.

— Госпожа Вейн, вы задаёте вопросы в порядке, который мне не нравится.

— Извините.

— Не извиняйтесь. Просто отвечу честно: бывает, что человек отказывается, а суду он нужен. Тогда мы объясняем ему это ещё раз. И ещё раз. — Он поправил булавку. — Я не считаю такие разговоры принуждением. Но и красивым словом их называть не стану.

Освальд слушал молча, и Эмма заметила, что он не мешает Хальду говорить.

— Теперь о деле, — сказал уполномоченный. — Палата предлагает помощь. Постоянный государственный наблюдатель при судебных просмотрах избавит вас от процедурных ошибок и защитит отчёты от будущих оспариваний.

— Отчёты защищают подписи и проверяемые следственные действия, — сказал Освальд.

— Старый порядок строился вокруг вашей репутации. Преемнице потребуется опора.

— Преемнице потребуется научиться говорить «нет» людям, которые называют контролёра опорой.

Хальд не обиделся. Вероятно, заранее оставил для обиды пустое место и решил не заниматься.

— Наблюдатель будет сидеть в зале? — спросила Эмма.

— За кругом. Разумеется.

— Тогда он сядет там, где сидит внешний.

— Не обязательно на том же табурете.

— В зале три табурина и один круг, господин Хальд. — Эмма сама удивилась своему голосу. — Внешний держит меня. Если рядом сядет человек, чья работа — следить, не вышла ли я за основание, я буду слышать двоих. Один зовёт обратно, другой проверяет. Я не знаю, за чьим голосом пойду.

Пауза вышла короткой, но Эмма успела увидеть одобрение Освальда и недовольство Бригитты — не вопросом, а тем, что он прозвучал до обсуждения Советом.

— Это соображение я не предусмотрел, — сказал Хальд.

— Оно единственное, которое имеет значение внутри, — заметил Освальд. — Постоянного наблюдателя не будет.

Уполномоченный ушёл без угроз. Только напомнил, что государство оплачивает половину стражи и доставку судебных ключей. Бригитта проводила его до дверей.

— Он правда хочет меня защитить? — спросила Эмма, когда шаги стихли.

— Да, — сказал Освальд.

Она не ожидала этого ответа.

— И получить доступ. И уменьшить риск для Палаты. И увеличить её влияние. Люди редко приходят с одной причиной, даже если называют одну.

— Значит, ему нельзя доверять?

— Значит, каждое предложение нужно проверять отдельно. Если однажды Хальд скажет, что в башне пожар, сначала тушите. Политические выводы сделаете после.

— Он вернётся?

— Он постоянное прилива.

Ближе к вечеру Бригитта повела её в верхнюю галерею, где хранились уставы.

— До полного обета пройдёт от нескольких месяцев до года, — сказала распорядительница. — Хранитель не занимает государственных должностей, не принимает титулов, не участвует в торговом предприятии. После обета он не вступает в брак и не создаёт семью.

Эмма остановилась.

— Почему?

— Двести лет назад Хранитель использовал архив, чтобы спасти сына от обвинения, и открыл память свидетелей без всякого основания. После этого личные связи признаны недопустимыми.

— У Освальда поэтому нет семьи?

— Это его личная история.

Эмма подумала о закрытой комнате дома, о братьях, о матери, которая уже, вероятно, переставляла её чашку с места на место. Семья у неё была. Значит, устав говорил о новой — муже, детях.

Она никогда не любила. Были мальчики, с которыми приятно танцевать, один ученик аптекаря приносил ей засахаренные орехи, пока не понял, что она делится ими с Тилем. Ничего такого, ради чего стоило спорить с Маяком.

— Это не кажется большой ценой, — сказала Эмма.

Освальд, шедший сзади, остановился у окна.

— Обеты всегда кажутся лёгкими, когда запрещают то, чего вы пока не хотите.

— Не все обязаны хотеть брак.

— Разумеется.

— И детей.

— Разумеется.

— Тогда почему вы говорите так, будто я обязательно пожалею?

— Потому что не хочу, чтобы вы принимали пожизненное решение из желания выиграть спор у старика, которого знаете третий день.

Она закрыла рот.

Бригитта раскрыла устав на нужной странице. Строки были выведены крупно, торжественно и очень давно. «Хранитель не связывает себя предпочтением одной жизни перед множеством».

— Но у Хранителя уже есть родители, — сказала Эмма. — Братья.

— Устав различает прежние связи и созданные после обета.

— Почему любовь к матери считается безопасной, а к мужу — нет?

Распорядительница впервые не нашла готовой формулировки сразу.

— Потому что так установлено после дела Корина Даста.

— Это не ответ на «почему». Это ответ на «когда».

Освальд смотрел в окно, но Эмма заметила улыбку в отражении.

— Не стоит заранее расшатывать решение, которое ей предстоит принять, — холодно сказала Бригитта.

— Заранее — лучшее время. После будет поздно.

Вечером Эмма написала домой четыре страницы. О приливной дороге, двух ключах от внутреннего зала, кухне, саде и комнате с узким окном на город. О холодной чаше, на которой летом выступает роса. О безупречных сапогах Хальда и о трёх тысячах человек, которые живут под чужими именами.

Про запрет на брак не написала. Не потому, что скрывала, — просто это не имело отношения к её жизни.

Она перечитала письмо и вычеркнула фразу «здесь всё хорошо». Написала вместо неё: «Мне страшно, но Освальд не врёт о том, чего не знает».

Потом достала из сумки записку Ларса.

Долг не отменяет остальных вопросов.

Положила рядом с уставом, который Бригитта велела изучить до конца недели. Два текста не спорили напрямую. От этого противоречие становилось только труднее.

Когда чернила высохли, Освальд принёс стеклянную трубку с каплей крови.

— Завтра первый полный просмотр, — сказал он. — Доброволец знает, что вы ученица. Задача простая, ответ запечатан отдельно. Он будет держать руку на камне сам.

Эмма посмотрела на тёмную каплю. В ней умещалась целая жизнь, если знать, как открыть.

- А если я увижу не то?
- Увидите. Вопрос не в этом.
- А в чём?
- Сумеете ли понять, что это не то, и вернуться.

Глава 8

Добровольца звали Олле Берг, и он смеялся так, будто предоставлял Эмме не всю свою жизнь, а возможность выиграть пари.

— Левое запястье, четырнадцать лет, — повторил он, устраиваясь в кресле у стены. — Сломал на причале. Потерял вещь. Что за вещь, записано там.

Он кивнул на маленький конверт под чёрной печатью. Олле было под семьдесят; кожа на лице огрубела от ветра, левое запястье срослось криво. Он много лет возил людей к Тьерну и несколько раз помогал Освальду обучать новых служителей.

— Вы можете отозвать согласие до входа, — сказала Эмма.

— Могу. Не стану.

— И во время?

Олле перестал улыбаться.

— Как я это сделаю, если вы будете внутри?

Эмма перевела взгляд к Освальду.

— Сигнал телом, — сказал тот. — Два движения большим пальцем. Если владелец без сознания или не способен подать сигнал, внешний наблюдатель прекращает вход при заранее названном условии.

— Какое моё условие? — спросил Олле.

— Резкое изменение дыхания или попытка выдернуть руку, — ответила Бригитта. — Я наблюдаю за вами, Освальд — за Эммой.

Эмма повторила условие вслух. Только после этого Олле протянул руку к подлокотнику.

— Биологический ключ потенциально открывает всю жизнь. Я буду искать только названный эпизод, но могу ошибиться.

— Значит, увидите, как я однажды украл у Бригитты пирог.

— Мне было девять, — сказала Бригитта от двери. — И пирог украли у моей матери.

Олле просиял.

— Видите? Маяк даже не понадобился.

Освальд не улыбнулся. Он проверил печати на трубке с кровью и положил её в неглубокую каменную чашу.

— Вы не ищете событие как страницу в книге, — сказал он Эмме. — Сначала откроется поле жизни. Сильные воспоминания заметнее. Яркость означает силу чувства, оттенок — его характер, но не добро и зло. Радость убийцы может быть светлой. Праведный страх — тёмным.

— А вы будете рядом?

— Достаточно близко, чтобы вы нашли дорогу обратно. Недостаточно, чтобы выбрать её за вас.

Эмма встала перед чашей.

Освальд сел на табурет за кругом — не рядом, а именно за чертой, — и положил трость поперёк коленей. Бригитта осталась у двери.

— Вслух, — сказал старик.

Эмма набрала воздуха.

— Ключ Олле Берга, отданный им самим. Ищу день, когда ему было четырнадцать, и вещь, которую он потерял на причале. Не ищу ничего, что было после того дня.

Слова прозвучали в пустом зале глупо и чересчур торжественно. Эмма всё равно повторила последнюю фразу — Освальд говорил, что именно её теряют первой.

— Теперь опоры.

— Эмма Вейн. Внутренний зал. Тиль. Холодный край чаши под ладонями.

— Господин Берг.

Олле подошёл, вытер ладонь о штанину и положил её на край камня — широкую, изуродованную канатами, с кривым запястьем.

— Так?

— Так. Убирайте, когда захотите, — сказала Эмма. — Не спрашивайте меня и не ждите, пока я закончу.

— А вы что почувствуете?

— Не знаю. Мне ещё не убрали.

Олле хмыкнул и остался стоять.

Эмма коснулась стекла.

Стекло было тёплым — вот первое, чего она не ожидала: кровь чужого человека, запечатанная в трубке полгода назад, лежала под пальцами тёплой, как кожа, и Эмма едва не отёрнула руку, а потом дно каменной чаши ушло из-под ладоней, и падать оказалось совсем не страшно, потому что падать было некуда.

Жизнь Олле открылась перед ней бесконечным тёмным простором — не комнатой, не полем и не небом, а чем-то, у чего одновременно не было ни верха, ни границ, ни расстояния, и в этом просторе висели пятна света, ближние и дальние, и все они, до последнего, были им.

Некоторые горели ровно и тепло, как окна в чужом доме зимой: женщина, спящая у него на плече, и тяжесть чужой головы, от которой затекает рука, и нежелание пошевелиться; первый самостоятельно проведённый паром, где до сих пор пахло новой пенькой и страхом; лицо дочери за окном, освещённое снизу лампой. Другие рвались наружу светом, почти болезненным для глаз, которых у Эммы сейчас не было. Оранжевое пятно пахло дымом и палёной шерстью. Синее отдавало ледяной водой так близко, что заныли зубы. А дальше, за всем этим, мерцали тысячи, десятки тысяч слабых точек — завтраки, дороги, разговоры о погоде, чиненные сапоги, — и каждая из них была прожитым днём человека, который сидел сейчас в четырёх шагах и сжимал ткань брюк двумя пальцами.

Эмма впервые поняла, почему Освальд никогда не говорил «посмотреть». Смотреть было нечем и не на что. В чужую жизнь входили целиком.

Левое запястье. Четырнадцать лет. Причал. Потерянная вещь.

Эмма повторила ориентиры и почувствовала, как поле ответило. Боль зажглась сразу в нескольких местах: старый Олле падал на лестнице, взрослому зажимало руку канатом, ребёнок обжигался о печь. Синее пятно ледяной воды вспыхнуло ярче остальных.

Причал, подумала Эмма. Это должно быть оно.

Она шагнула.

Море ударило в лицо, и удар был не образом, не картинкой и не воспоминанием, а самой водой: солёной, ледяной, лезущей в ноздри и под веки, забивающей рот раньше, чем успеваешь его закрыть, — и вместе с ней пришло всё остальное сразу, потому что чужая память не разворачивается постепенно, как рассказ, она уже идёт, когда ты в неёходишь.

Олле было девятнадцать, не четырнадцать.

Их было четверо на палубной лодке, возвращавшейся с дальних сетей: он, старший брат Хальмар и двое нанятых работников, отец с сыном из Нижней слободы. Шторм догнал их у самых рифов, когда до бухты оставалось меньше часа.

Молния разложила мир на белое и чёрное и снова убрала. Мачта треснула у самого гнезда и легла за борт вместе с парусом, но не отделилась: снасти держали её на воде, и она превратилась в плавучий якорь, который разворачивал лодку боком к волне. Отец с сыном вычерпывали воду. Хальмар полез рубить снасть.

Он успел перерубить две из трёх. Третья, самая толстая, была натянута, и когда топор пошёл вниз, волна подняла мачту.

Канат лопнул сам.

Свободный конец ударил Хальмара под колени и смёл его за борт вместе с обломком весла. Другой конец остался в руках Олле — он держал его страховкой, как держат брата, который работает над водой.

Дальше было тридцать секунд, о которых Олле не рассказывал никому пятьдесят лет.

Мачта, освободившись, всплыла и пошла на лодку. Держать канат означало держать брата в шести шагах за кормой. Но тот же канат теперь шёл через сорванный блок к вантам, и, пока он был натянут, лодку тянуло лагом — боком к следующей волне, — а на палубе, по колено в воде, стояли отец и мальчик лет пятнадцати, который не умел плавать и который час назад показывал Олле, как отец учил его вязать узел.

Хальмар держался. Хальмар был сильный. Хальмар кричал что-то, чего не было слышно.

Олле думал не «кого спасти». Он думал: «ещё три секунды, и я вытяну».

Волна пришла на второй секунде.

Он отпустил.

Не решил, не выбрал, не взвесил — руки сами разжались, когда лодка легла, и это было единственное, что можно было сделать, чтобы она не легла окончательно. Канат ушёл в воду. Лодка выпрямилась. Отец с сыном удержались.

На одно мгновение — короче вдоха, но Эмма прожила его целиком, до самого дна, — пришло облегчение: руки перестало рвать из плеч, палуба вернулась под ноги, и внутри у Олле поднялась горячая, животная, ни в чём не виноватая радость оттого, что он жив и что двое за его спиной тоже живы.

Потом он обернулся.

Обломок весла качался пустой.

И облегчение, которое ещё не успело закончиться, встретилось с этим, и с тех пор так и осталось внутри — сросшимся, неразделимым, отравленным. Вина прожила в нём следующие пятьдесят лет: она окрашивала каждую воду, каждую верёвку, каждое счастливое возвращение к берегу и каждую минуту, когда он смеялся и вспоминал, что смеётся. Эмма чувствовала её не как рассказ о чужом выборе и даже не как сочувствие, а как совершенно собственную, ни с чем не спорящую правду: она разжала руки, она обрадовалась, что осталась жива, и она должна была умереть вместо него.

Кто-то звал её издалека.

— Имя.

Имя утонуло. Она была Олле. Нет — братом Олле, потому что именно его тело должно было находиться в воде. Она не помнила, кто спасся.

— Назовите своё имя.

— Хальмар, — выговорила она. Так звали погибшего.

Голос Освальда стал жёстче.

— Нет. Вы видите Хальмара только глазами брата. Ваше имя находится снаружи этого шторма.

Снаружи ничего не было. Только ледяная вода и канат, ушедший из рук.

— Место, — повторил Освальд. — Не лодка. Настоящее место.

Под коленями оказался камень. Не палуба. Камень Маяка.

— Внутренний зал.

— Близкий человек.

Брат.

Ларс тонет. Нет, Ларс дома. Тиль держит зелёное стекло. Оба живы.

— Тиль.

— Ощущение.

Эмма искала холодный край чаши, но кисти сводило от каната. Тогда нашла другое: игольный укол на указательном пальце, почти заживший и всё же её.

— Палец.

Шторм разорвался.

Она стояла в поле Олле, тяжело дыша. Синее пятно продолжало звать, но теперь Эмма знала: это не нужный возраст. Не перелом. Не задача.

— Я ошиблась, — сказала она.

Освальд был рядом светлым неподвижным ориентиром.

— Ошибка уже произошла. Сделайте её полезной. Чего не хватало в поиске?

— Сначала выйдем полностью, — сказала Эмма.

Она сама не ожидала, что возразит. Синее пятно тянуло обратно, а вина Хальмара — нет, вина Олле — мешала различать даже собственное дыхание.

Освальд несколько мгновений смотрел на неё.

— Хорошо. Назовите опоры ещё раз.

Эмма вернулась в зал, выпила воду и спросила Олле, хочет ли он продолжать. Старик сидел бледный. Два пальца правой руки сжимали ткань брюк.

— Вы увидели шторм? — спросил он.

— Да.

— Хальмара?

— Глазами, которыми вы его видели.

Олле закрыл лицо ладонью. Бригитта шагнула к нему, но он опустил руку сам.

— Продолжайте.

— Вы уверены?

— Нет. Продолжайте всё равно.

— Неуверенность не отменяет согласия, — тихо сказал Освальд Эмме. — Но требует проверить, понял ли человек выбор.

— Если мы остановимся, вы сможете вернуться в другой день, — сказала она Олле. — Вам не нужно заканчивать ради моего урока.

— Я знаю. И хочу закончить сегодня.

Только тогда Эмма снова назвала вслух всё три раза подряд — чей ключ, что ищет, чего не ищет, — и Олле снова положил ладонь на камень.

Четырнадцать. Левое запястье. Причал. Потерянная вещь.

Боли оказалось недостаточно. Причалов — сотни. Потерянных вещей — больше, чем Олле мог вспомнить.

— Что он видел? — спросил Освальд. — Чем пахло? Кто был рядом?

Она знала только задачу, но тело Олле ответило на слово «четырнадцать»: смола под ногтями, голос младшей сестры, белая стружка на тёмной воде. Не буря. Летний день. Он ещё не был лодочником — помогал отцу чинить настил.

Эмма собрала ориентиры вместе.

Поле сузилось. Слабое золотистое пятно едва выделялось среди обычных дней.

Она вошла осторожнее.

Здесь пахло нагретой смолой и водорослями, солнце стояло высоко, доски настила жгли босые ступни, и четырнадцатилетний Олле бежал по причалу с деревянной чайкой в руке — птицу вырезал отец, грубо, тупым ножом, с одним крылом короче другого, и мальчик знал наизусть каждую зазубрину на её спине, потому что таскал её с собой третий год. Младшая сестра плакала на нижней ступени: её игрушечная лодка отвязалась и уходила с отливом, медленно, издевательски медленно, всё ещё в двух шагах и уже недостижимо.

Олле прыгнул на мокрый брус, потянулся багром. Доска под ногой качнулась. Он успел вытолкнуть лодку к сестре — и упал между настилом и сваей.

Запястье хрустнуло, и звук пришёл раньше боли: сухой, отчётливый, совершенно неправильный звук, который тело слышит изнутри и узнаёт мгновенно. Потом боль поднялась белой

стеной, съела и причал, и солнце, и крик сестры, а деревянная чайка вылетела из разжавшихся пальцев и упала в воду. Олле смотрел на неё сквозь эту белизну: птица качнулась на волне, повернула короткое крыло к небу, будто пробуя его в последний раз, и ушла под причал, в зелёную тень между сваями, куда мальчику с перебитой рукой было не добраться.

Сестра кричала. Спасённая лодка билась о ступень.

Эмма удержала три факта отдельно: перелом, лодка, чайка. Потерянной вещью была чайка, не игрушка сестры.

Она вышла.

Каменный зал вернулся резко. Эмма отшатнулась, Освальд поймал её за локоть. Олле всё ещё сидел у стены. Он смотрел внимательно, без прежней шутливости.

— Деревянная птица, — сказала Эмма. — Чайка, вырезанная вашим отцом. Одно крыло короче. Вы потеряли её, когда спасали игрушечную лодку сестры.

Бригитта сломала печать на конверте и прочла записанный ответ.

— Совпадает.

Олле потёр кривое запястье.

— Я не вспоминал эту птицу лет тридцать.

Эмма смотрела на него и видела не старого лодочника, а девятнадцатилетнего юношу, отпустившего канат. В груди всё ещё жила его вина.

— Ваш брат знал, что вы спасли...

Освальд сжал её локоть.

Эмма замолчала.

В памяти не было прощения. Только исчезновение Хальмара и полвека догадок Олле.

— Простите, — сказала она. — Я увидела другой эпизод. Но не имею права говорить за вашего брата.

Олле отвёл взгляд. На мгновение в лице мелькнуло разочарование, и Эмме захотелось всё-таки подарить ему нужные слова.

Она не сделала этого.

— Я могу сказать другое, — произнесла она. — В том эпизоде вы держали канат, пока лодку не положило лагом. За вами стояли отец и мальчик, который не умел плавать. Руки разжались, и лодка выпрямилась. Это я видела.

— Значит, я выбрал их.

— Я не знаю, было ли там время выбрать. Волна пришла раньше, чем вы досчитали до трёх. Я могу описать только последовательность.

Олле долго смотрел на кривое запястье.

— Пятьдесят лет я каждый раз добавлял себе ещё одну секунду, — сказал он. — Такую, в которой мог решить иначе.

Эмма не ответила. Даже оригинальная память не могла измерить возможность, которой не произошло.

Когда лодочник ушёл, Освальд открыл окно. Холодный воздух вошёл в зал вместе с запахом моря.

— Сочувствие не превращает догадку в правду, — сказал он.

— Я знаю.

— Теперь знаете.

Ночью Эмма проснулась от боли в здоровом запястье.

Комната пахла ледяной водой. Ей казалось, что Ларс зовёт из-за стены, а Тиль лежит на дне залива, потому что она выбрала спасти себя. Эмма зажгла лампу и долго не могла заставить пальцы перестать искать мокрый канат.

— Эмма Вейн, — произнесла она.

Комната на Тьерне. Ларс. Тиль. Оба дома, оба живы. Тёплый пол под босыми ногами.

Она повторяла, пока море не вернулось за стены.

Утром на столе лежал свёрток от Олле. Внутри была новая деревянная чайка — аккуратная, с одинаковыми крыльями — и записка:

Эту вы не теряли.

Эмма отнесла птицу Освальду.

— Можно оставить?

— Если понимаете, что со временем она станет ключом к сегодняшнему дню.

Эмма снова посмотрела на ровные крылья.

— Тогда оставляю.

Воспоминание принадлежало ей.

Глава 9

День после полного просмотра Эмма провела без крови.

Она ждала нового урока в рабочем зале, но Освальд принёс латунный компас и поставил его на стол между ними.

— Сегодня предмет, — сказал он.

Запястье Эммы ещё ныло чужой болью. Она была благодарна, что не придётся снова искать человека по тёмной капле, но постаралась не показать облегчения.

— Вещи действительно хранят воспоминания?

— Нет. Вещи не помнят, не любят и не свидетельствуют. Люди делают это за них. Значимый предмет даёт Маяку дорогу к тем, чья жизнь за него держалась.

Освальд открыл крышку. Стрелка дрогнула и остановилась.

— Найдите момент, когда компас передали мне. Только его.

— Вы даёте согласие?

— Узкое. Передача и необходимые соседние мгновения. Если увидите другую дорогу, не входите.

— А если она будет важной?

— Для кого?

Эмма поняла ответ прежде, чем произнесла его.

— Не для моей задачи.

Освальд положил ладонь на край чаши сам — и Эмма поймала себя на мысли, что за девять дней впервые видит, как он делает то, чему учит.

Она положила пальцы на тёплую латунь.

Того, что открылось, она не ожидала. Поля не было — вместо огромного тёмного пространства, к которому она уже начала привыкать, перед ней лежало всего несколько дорог, узких и коротких, как тропинки от одного дома к другому, и все они сходились в одной точке, потому что этой точкой был компас. Вещь не помнила ничего. Вещь просто оказалась в руках у четырёх человек и связала их между собой так же случайно и так же прочно, как одна перешитая пуговица связывает старое пальто с новым.

Две дороги были почти неразличимы: торговец держал компас на прилавке и однажды пересчитал выручку, не глядя, а мальчик чистил корпус мелом перед продажей и порезал палец о край крышки. Обе жизни коснулись латуни и пошли дальше, ничего к ней не прибавив. Третья дорога была плотной, солёной и пахла табаком. Четвёртая принадлежала Освальду.

— Он показывает всех, кто касался? — спросила Эмма, ещё удерживаясь на пороге.

Голос наставника пришёл снаружи:

— Только тех, для кого участвовал в значимом эпизоде. И не обязательно владельцев. Человек мог один раз украсть вещь и связать с ней всю оставшуюся жизнь.

— Как выбрать нужного?

— Ищите не человека. Ищите условие разрешённого события.

Передача Освальду. Не Освальд вообще.

Первая дорога пахла табаком, мокрым деревом и смолой. Эмма увидела руки морского капитана — широкие, с белым шрамом поперёк большого пальца, — и вместе с руками получила всё остальное сразу: шторм, крен, воду по щиколотку в рубке, собственный голос, орущий что-то про грот, и совершенно ясную, почти спокойную мысль о том, что рифы левее, чем показывает карта. Страх был ярким и ничуть не беспомощным. Человек боялся именно потому, что знал цену ошибки, и это было хорошее знание, рабочее, из тех, что держат судно на воде.

Прежний владелец. Не Освальд.

Эмма не стала досматривать шторм — отступила к предмету и попробовала другую дорогу.

Сначала ей показалось, что она вернулась в собственное прибытие: та же приливная дорога, те же чёрные плиты, то же море с двух сторон и та же неприятная мысль, что вода подходит быстрее, чем кажется. Потом она поняла, что тело чужое — мужское, высокое, слишком худое для своего роста, с дрожащими коленями и с письмом от матери в правом кармане, письмом, которое этот человек перечитал столько раз, что знал наизусть не слова, а расположение пятен между ними.

Освальду было двадцать семь, и он стоял посреди дороги, отказываясь идти дальше.

— Я не хочу, — сказал молодой Освальд.

Прежний Хранитель ждал впереди. Эмма не знала его имени, но память Освальда знала: мастер Хенрик. Невысокий мужчина с седой бородой и привычкой шурить один глаз, когда сердился.

— Это полезная новость, — ответил Хенрик.

— Вы говорили, страх пройдёт.

— Я говорил, вы научитесь идти вместе с ним.

— Я вернусь домой.

— Дорога свободна.

Хенрик не убеждал. Он не напоминал о священном долге, не считал вслух, сколько людей нуждается в новом Хранителе, и не объяснял, что обратной лодки всё равно не будет ещё шесть часов, — он просто стоял на мокром камне, немолодой, невысокий, в промокшем плаще, и оставлял дорогу назад открытой так демонстративно, что это само по себе было приёмом, и Освальд, кажется, это понимал.

Освальд обернулся к городу. В кармане шуршало письмо. Он хотел домой так сильно, что Эмма почувствовала во рту вкус железа.

Потом Хенрик протянул компас.

— Маяк покажет, где были другие, — сказал он. — Компас напоминает, где находитесь вы.

Освальд взял вещь.

Стрелка не указала на башню. Она указала на север, равнодушная к его страху и чужим ожиданиям.

Он пошёл вперёд потому, что мог пойти назад.

Эмма задержалась в эпизоде. Ей хотелось рассмотреть юного наставника, сохранить его сердитое лицо и дрожащие руки. Но задача была выполнена. Передача произошла.

Она уже собиралась выйти, когда рядом вспыхнула другая дорога.

Вечерний город, поздняя весна, распахнутое где-то наверху окно и запах сирени, которого в этом эпизоде было слишком много для одного человека. Освальд старше — лет сорока, ещё не седой, — стоит перед зелёной дверью и держит руку в кармане, где лежит компас. Из-за двери говорит женщина, и говорит негромко, как говорят люди, которые уже давно всё выяснили и повторяют по кругу только последнюю фразу:

— Если войдёшь сейчас, не говори мне снова, что делаешь это ради меня.

За дверью было много света — не кристального, а тёплого, домашнего, желтоватого, с движущимися тенями, из чего следовало, что там кто-то ходит по комнате и, скорее всего, не она одна. Эмма почувствовала, как край компаса впивается Освальду в ладонь, и поняла, что следующий шаг откроет ей годы, о которых он не рассказывал никому, включая, судя по всему, самого себя.

Она остановилась.

Женщина снова заговорила, но Эмма отступила прежде, чем разобрала слова.

Дорога не исчезла сразу — она держала, и держала не магией, а тем единственным, чем вообще можно удержать любопытного человека: обещанием ответа. Почему Освальд не назвал родных среди четырёх опор. Почему так резко запретил ей считать обет лёгким. Почему эта зелёная дверь отзывается в тёплой латуни сильнее, чем десятки судебных дел, ради которых компас лежал у него в кармане следующие пятьдесят лет.

Любопытство оказалось удивительно похоже на обязанность. Эмма успела подумать, что знание поможет ей понять наставника, а значит, лучше учиться.

Потом вспомнила: полезность не создаёт согласия.

Она закрыла дорогу намеренно.

Латунь исчезла из её пальцев. Рабочий зал вернулся.

Освальд сидел напротив, сложив руки на трости.

— Хенрик передал вам компас на приливной дороге, — сказала Эмма. — Вы хотели вернуться домой. Он не стал удерживать и сказал, что Маяк показывает, где были другие, а компас — где находитесь вы.

— Достаточно точно.

— Рядом была другая сцена.

Лицо Освальда не изменилось, но пальцы на трости сдвинулись.

— Я не вошла.

— Почему?

— Вы не разрешали.

— А если там находился ответ на вопрос, почему Хранителям запрещена семья?

— Тогда вы можете рассказать его сами. Если захотите.

Освальд закрыл компас.

— Умение войти ещё не означает права входить.

В его голосе не было похвалы. Эмма всё равно почувствовала её и сразу насторожилась: её ли это удовольствие, или остаток молодого Освальда, который наконец сделал верный шаг?

Эмма постояла, пока комната не сделалась убедительнее двери. Чувство осталось, но стало её собственным.

— Теперь ваше кольцо, — сказал Освальд.

Эмма достала морскую находку. Медный ободок на ладони выглядел бедно рядом с компасом.

— Оно показало мне смех и воду до того, как я приехала.

— Не показало. Вы получили короткий фрагмент из-за пробуждавшейся связи.

— Можно узнать, чей?

— Вероятно. Нельзя — без основания.

— Владелец мог умереть сто лет назад.

— Смерть не превращает жизнь в общую собственность.

— А если я посмотрю только, кому оно принадлежало?

— Это уже часть чужой жизни. У нас нет согласия, судебного разрешения или угрозы.

— Но я уже случайно увидела смех.

— Случайно услышанная фраза не даёт права открыть чужое письмо до конца.

— А если фрагмент снова придёт сам?

— Назовёте опоры, запишете только то, что возникло без вашего поиска, и сообщите мне.

— Почему записывать, если смотреть нельзя?

— Потому что запрещённый доступ и случившееся воздействие — разные вещи. Первое мы предотвращаем. Второе обязаны не скрывать.

Эмма провела пальцем по стёртому узору.

— Тогда зачем Маяк показал мне хоть что-то?

— Он выбирал вас, а не удовлетворял любопытство. Древние силы иногда отличаются от людей плохими манерами, а не их отсутствием.

Освальд подвинул к ней маленькую деревянную коробку. Эмма положила кольцо внутрь и заперла. Не уничтожила дорогу — только оставила закрытой.

После урока они пили чай в узкой комнате над садом. Освальд разрезал яблоко на восемь одинаковых долек и складывал кожуру в безукоризненную спираль. Теперь Эмма видела в нём человека, который когда-то дрожал на дороге и хотел к матери. От этого старик не стал слабее. Скорее его точность перестала казаться врождённой и потому недостижимой.

Она заметила, что компас лежит у его правой руки. Не в кармане, где находился почти всегда.

— Вы знали, что рядом откроется зелёная дверь?

— Предполагал.

— Это тоже было испытанием?

— Любой значимый предмет неизбежно предлагает лишнее. Я выбрал тот, где лишнее принадлежало мне, а не ничего не подозревающему человеку.

— Но вам было неприятно.

— Обучение без риска для наставника быстро превращается в удобную речь о риске ученика.

Эмма подумала об Олле и Хальмаре. Освальд мог выбрать безобидную вещь, связанную только с известным эпизодом. Вместо этого оставил рядом собственную закрытую дверь и доверил ей остановиться.

— Хенрик был добрым наставником? — спросила она.

— Иногда.

— А вы?

— Тоже иногда.

— Сегодня, например?

— Сегодня я дал вам яблоко. Не раздувайте событие.

Во дворе ударил колокол внешней пристани. Служитель вошёл без стука.

— Лодка следственного управления. Господин Ренн просит Хранителя.

Освальд положил последнюю дольку на тарелку.

— Он всегда просит так, будто уже получил согласие.

Эмма поднялась.

— Мне уйти?

— Напротив. Пора познакомиться с человеком, который будет считать каждую вашу ошибку доказательством собственной правоты.

— Вы говорите так, будто он вам не нравится.

— Он мне нравится. Это одна из его наиболее утомительных черт.

Глава 10

Через семь дней Роберт застал незнакомую девушку в рабочем зале Хранителя.

Неделя ушла на то, чтобы превратить сказанное стариком в то, что можно положить на стол судье: мешочек с камнями нашли за сундуком именно там, где было сказано, кровь бывшего подмастерья на дверной ручке оказалась перенесённой рукой самого погибшего, а перстень Герда Валлена, снятый с него при задержании, оставил на серебряном сосуде дугообразную царапину, которую можно было измерить и зарисовать. Только после этого — не раньше, и Роберт настоял на этом порядке, хотя торопили все, — он приложил к делу отчёт Освальда.

Подмастерье вышел из камеры до полудня, как и обещали. У ворот он плюнул Роберту под ноги, и Роберт счёл это справедливой платой за двое лишних суток, проведённых человеком в камере ради того, чтобы приговор потом никто не смог опрокинуть одним вопросом про видение.

Между закрытым делом и новой лодкой лежала неделя дождя и привычная, ни разу за пять лет не подводившая уверенность: на Тьерне его встретит человек, которому не нужно объяснять каждое второе слово.

Она стояла спиной к двери и раскладывала на столе карточки с запахами — можжевельник, воск, мокрая шерсть, уксус, — раскладывала не по алфавиту и не по порядку, а по какому-то своему признаку, который Роберт не сумел определить с первого взгляда и который поэтому сразу его заинтересовал. Серое ученическое платье сидело слишком свободно, тёмные волосы были собраны кое-как, будто причёска не пережила утреннего урока, а на указательном пальце блестел серебряный напёрсток, надетый явно не для работы, потому что никакого шитья на столе не было.

— Простите, — сказал Роберт. — Позовите господина Крея.

Девушка обернулась.

У неё было то открытое, ничем не защищённое лицо, какое бывает у людей, ещё не научившихся придерживать первую реакцию до выяснения обстоятельств, и первой реакцией сейчас было отчётливое, ничем не разбавленное раздражение.

— Он занят. Может быть, я помогу?

— Материалы судебного дела.

— Тогда, вероятно, можете оставить их здесь.

— Не могу.

— Почему?

— Потому что они судебные.

Она посмотрела на кожаный футляр у него в руке.

— В комнате Маяка.

— Рядом с человеком, которого я не знаю.

— Значит, проблема легко исправляется. Эмма Вейн.

Роберт вспомнил имя на краю старой схемы. Посмотрел на напёрсток, серое платье и карточки.

— Преемница.

— Пока ученица. Но уже не посторонняя.

Она сказала это уверенно, и Роберт поверил бы, если бы не рука с карточкой, которая остановилась на полпути к столу и так и осталась висеть. Противоречие он отметил автоматически, как отмечал всё подряд последние девять лет. А следом отметил и собственное раздражение — оттого, что теперь даже здесь, в единственной комнате на побережье, где можно было ни в чём не сомневаться, приходится отличать смелость от попытки казаться смелой.

Освальд вошёл из внутреннего прохода и остановился между ними с явным удовлетворением человека, который услышал достаточно и не намерен помогать.

— Вы познакомились.

— В общих чертах, — сказал Роберт.

— Он попросил меня позвать Хранителя, — сказала Эмма.

— Разумно. Позовите.

Она прищурилась. Освальд сел за стол.

Роберт положил перед ним два документа. Первый — судебное разрешение. Второй — проект Палаты о расширенных отчётах: полное описание всех увиденных эпизодов, включая не относящиеся к делу, с последующим засекречиванием.

Освальд прочитал последнюю страницу.

— Нет.

— Это проект, а не требование.

— Тогда мой ответ поможет сэкономить бумагу до того, как он станет требованием.

— Палата утверждает, что сокращённые отчёты мешают защите оспаривать выводы.

— Защита получает относящиеся к делу наблюдения. Чужая постель, болезнь ребёнка и мысли о смерти не становятся судебным имуществом из-за того, что Хранитель ошибся дверью.

— Я не поддерживаю полный сбор, — сказал Роберт. — Но обязан передать проект.

— И что вы написали в отзыве? — спросила Эмма.

— Это служебный документ.

— Значит, вы поддержали?

— Я написал, что полный сбор создаст массив частных сведений, не имеющих доказательственной ценности и пригодных для давления на свидетелей.

— Тогда почему просто не сказали?

— Потому что моё согласие с вами не даёт вам допуска к служебной переписке.

Она сжала губы. Роберт почти ожидал продолжения спора, но Эмма кивнула.

— Хорошо. Граница понятна.

Почему-то её согласие раздражало меньше, чем раздражал бы спор, и это было ново: обыкновенно люди, которые быстро уступают, вызывали у Роберта подозрение, а не облегчение.

Дальше она слушала, не вмешиваясь, и он заметил, что карточки с запахами перестали перебираться ровно на словах «ошибся дверью», — то есть она всё-таки следила за делом, а не за тем, кто из двоих мужчин в комнате окажется прав.

Освальд отложил бумагу и протянул руку к судебному разрешению.

— Дело?

— Курьер Палаты. Двадцать три года. Вёз запечатанные показания по делу о контрабанде оружия. Между пятью и семью часами исчезли два часа его памяти и сам документ. Очнулся у собственного дома с пустым футляром.

— Жив?

— Да. Под стражей. Кровь предоставил добровольно после беседы с защитником.

— Почему не обычная амнезия?

— Подпись на книге выдачи его. Два свидетеля видели, как он покинул Палату с футляром. Один — как добровольно встретился с женщиной у рынка. На футляре нет следов борьбы. Он отрицает продажу, но не может объяснить пропажу.

Освальд не взял футляр.

— Эмма проведёт просмотр.

Роберт решил, что старик шутит, хотя тот редко шутил словами, последствия которых требовали судебного разбирательства.

— Сколько полных просмотров она выполнила?

— Один.

— Успешных?

Эмма ответила сама:

— Я нашла нужный эпизод со второй попытки.

— Значит, один просмотр и одна ошибка.

— Это всё ещё один успешный просмотр.

— В учебной задаче.

— С живым человеком и настоящей жизнью.

— Вы вошли за пределы задачи?

Эмма покосилась на Освальда.

— Да.

— Какие последствия?

— Остаточная боль, вина, нарушение сна.

— Для владельца?

— Я едва не сказала ему то, чего в памяти не было.

Роберт ждал оправдания. Она не последовала.

— И остановилась, — добавил Освальд.

— После того как вошла не туда.

— Именно поэтому мы называем это обучением, а не безупречностью.

Роберт знал, что старик прав, и ненавидел практические следствия его правоты. Ошибка Освальда была редким событием, которое они умели учитывать. Ошибка ученицы становилась частью каждого действия.

Роберт повернулся к Освальду.

— Ошибка в этом деле оставит возможного торговца оружием на свободе или отправит невиновного в тюрьму. Случайный вход нарушит тайну свидетеля. Нет ни одной причины поручать его ученице сейчас.

— Есть, — сказал Освальд. — Она должна научиться на настоящем деле до того, как настоящие дела останутся только ей.

Роберт уловил фразу. Эмма тоже.

— Почему останутся только мне? — спросила она.

— Потому что преемников выбирают для преемства. Не для украшения зала.

— Вы уходите? — спросил Роберт.

— Когда-нибудь. Это распространённая привычка девяностолетних.

— Вы могли предупредить меня до приезда, — сказал Роберт.

— Чтобы вы подготовили перечень причин, по которым Маяк выбрал неправильно?

— Чтобы изменить порядок работы.

— Мы его и меняем.

— Сейчас. Над открытым делом.

— Любой момент показался бы вам слишком близким к открытому делу.

И с этим спорить было трудно. За пять лет Роберт ни разу не приезжал на остров без вопроса, который считал срочным.

Старик закрыл тему тем же тоном, каким закрывал доступ к лишнему воспоминанию. Роберт не принял объяснение, но не стал спорить при Эмме.

— Я не уверена, что готова, — сказала она.

Роберт поднял брови: первое разумное возражение за утро.

— Прекрасно. Значит, мы согласны.

— Нет. Я сказала, что не уверена. Не что вы вправе обсуждать меня так, будто я испорченный инструмент.

Разумное возражение оказалось недолгим.

— Я обсуждаю риск для дела.

— Вы ни разу не спросили, что я уже умею.

— Один просмотр.

— Это число, не ответ.

— Достаточно красноречивое число.

Освальд поднял ладонь.

— Я буду присутствовать в поле и заверю отчёт. Эмма ищет, описывает и отделяет восприятие от вывода. Господин Ренн получает право остановить использование результата, если процедура покажется ненадёжной. Не сам просмотр — снаружи вы его всё равно не контролируете.

— А если она потеряется? — спросил Роберт.

— Верну.

Эмма смотрела на наставника.

— Это решение уже принято?

— Нет. Я предложил условия. Решение ваше.

Роберт хотел напомнить, что решение касается не только её. Но девушка долго молчала, глядя на запечатанный футляр, и он увидел не жажду показать способности, а страх перед ними.

— Я сначала поговорю с владельцем, — сказала она. — Потом решу.

— Он уже дал показания, — сказал Роберт.

— О событиях. Я хочу спросить про сам провал.

— Защитник присутствует при повторной беседе.

— Хорошо.

— Вопросы сначала согласуем.

— Хорошо.

— Вы не обещаете ему восстановить потерянное.

— Я вообще умею восстанавливать память?

— Нет, — сказал Освальд.

— Тогда этот пункт будет особенно прост.

Роберт присмотрелся к ней. Девушка раздражалась, но не пыталась обойти процедуру. Более того, сама потребовала разговора с владельцем, хотя кровь уже лежала в футляре и формальное согласие было получено.

— Он ничего не помнит.

— Что он чувствует рядом с тем, чего не помнит?

Роберт открыл папку.

— До пропуска — тревогу. После — облегчение.

— Облегчение от потери важного документа?

— Или от денег, полученных за него.

— Возможно. Но чувство может помочь найти дорогу.

Освальд кивнул ей, не Роберту.

— Эмоция — ориентир. Не доказательство.

Эмма передвинула карточку с мокрой шерстью ближе к себе, словно уже собирала будущий поиск.

— Я согласна при ваших условиях. И хочу заранее договориться об отчёте.

— Я принёс форму, — сказал Роберт.

— Форма Палаты просит «содержание воспоминания». Мне нужны три части: что я увидела и услышала; что чувствовал владелец; что я предполагаю. Отдельно.

— Предположение не входит в свидетельскую часть.

— Поэтому и будет отдельно.

— Зачем включать его вообще?

— Чтобы не начать притворяться, будто у меня его нет.

Роберт вспомнил собственную первую неделю в следствии. Он тогда писал только наблюдения, но подбирал их так, чтобы они поддерживали уже выбранного подозреваемого. Предположение, не названное предположением, управляло страницей лучше любого доказательства.

Освальд обнаружил это на втором их общем деле, ничего не сказал вслух при посторонних, а вечером положил перед ним чистые листы и сидел рядом, пока Роберт переписывал сорок страниц, — и с тех пор прошло пять лет, а он всё ещё делил бумагу на столбцы.

Роберт посмотрел на старика. Тот изучал потолок с видом человека, которого происхождение не касается совершенно.

— Вы её этому научили?

— Нет. Я собирался присвоить себе заслугу позднее.

Подход был неудобным, но не бессмысленным. Роберт вытащил чистый лист и провёл две линии, деля его на три столбца.

— Увиденное. Чувство. Предположение. В третьем столбце ничего не становится уликой без внешней проверки.

— Согласна.

— Во втором — тоже.

Эмма немного подумала.

— Чувство не доказывает события. Но существование чувства является фактом восприятия.

Роберт записал её фразу дословно. Не потому, что она ему понравилась, а потому, что формулировка могла пригодиться при оспаривании.

Он протянул Эмме перечень вопросов. Она прочла первый, зачеркнула слово «похититель» и написала «человек, с которым встретился владелец».

— Свидетели видели мужчину, — сказал Роберт.

— Тогда «мужчина». Но пока не похититель.

— Документ исчез после встречи.

— Значит, встреча связана с исчезновением по времени. Не обязательно по причине.

Роберт снова перевёл взгляд на Освальда — старик всё ещё изучал потолок, но теперь улыбался так откровенно, что это следовало считать высказыванием.

Тогда Роберт достал материалы курьера и придвинул их не Освальду, как делал пять лет подряд, а Эмме.

— Начнём сначала, — сказал он.

— Матиас Лорк, двадцать три года, — прочла она на верхнем листе.

— Сначала не имя, — сказал Роберт. — Сначала границы задачи.

Эмма вернула лист на стол.

— Хорошо. Начнём с границ.

Освальд молча подвинул к ним третий стул.

Глава 11

Курьер выглядел одновременно моложе своих двадцати трёх лет и старше человека, который не спал всего две ночи, — так выглядят люди, у которых беда случилась не вчера, а давно, и вчерашнее только сняло с неё крышку.

Его звали Матиас Лорк. Страж снял с него наручники перед входом в рабочий зал, но красные полосы на запястьях остались. Матиас держал руки на коленях и смотрел на запечатанную трубку со своей кровью так, будто внутри находился приговор.

— Вы понимаете условия? — спросила Эмма.

— Мне объяснили.

— Я хочу услышать, что именно.

Роберт стоял у окна с папкой в руках, и Эмма чувствовала его внимание почти физически — не как взгляд, а как ровное давление на затылок, потому что оценивал он не только ответы курьера, но и каждый её вопрос, и, судя по всему, вёл про себя два отдельных счёта. Освальд сел в стороне, за чертой круга, положив трость поперёк коленей. Сегодня он обещал вмешаться лишь при опасности или нарушении.

Матиас облизнул сухие губы.

— Кровь позволит найти эти два часа. Вы увидите, что произошло с показаниями.

— Возможно. Но кровь потенциально открывает всю вашу жизнь. Я буду искать только нужный промежуток, однако могу войти не туда. Если увижу постороннее, обязана выйти и не включать это в отчёт, если оно не связано с делом.

— А если связано?

— Тогда увиденное может быть передано следователю в границах разрешения.

Матиас посмотрел на Роберта.

— Он и так знает худшее.

— Я знаю то, что вы сообщили, — сказал Роберт. — Не больше.

— Пока.

В слове не было обвинения. Только усталость человека, который уже перестал различать помощь и следующий способ проверить его ложь.

Эмма села напротив.

— Вы можете отозвать согласие сейчас.

— И что будет?

Роберт ответил:

— Расследование продолжится без Маяка. Ваша встреча, подпись, пустой футляр и оплата лечения останутся уликами. Отказ не докажет вину, но не уничтожит их.

— Значит, выбирать между просмотром и тюрьмой.

— Между просмотром и расследованием без просмотра, — поправила Эмма. — Это не свободный выбор. Но я не стану называть его другим.

Матиас впервые посмотрел прямо на неё.

— Вы недавно здесь.

— Десять дней.

Роберт едва заметно изменил положение у окна.

— Тогда почему вы? — спросил Матиас.

Вопрос прозвучал не грубо. От этого отвечать было труднее.

— Потому что Маяк выбрал меня и обучение уже началось.

— Я спрашиваю, почему не он.

Освальд мог ответить сам. Не ответил.

— Он будет рядом, — сказала Эмма. — Но решение поручить поиск мне принял как наставник. Решение согласиться или нет остаётся вашим.

— А если вы ошибётесь?

— Я сообщу об ошибке. И она не станет доказательством только потому, что произошла внутри Маяка.

Роберт перестал листать папку. Формулировка совпадала с первым пунктом составленной им проверки почти дословно.

— Мне сказали, Хранитель проведёт просмотр.

— Освальд будет рядом. Искать должна я. Если вы не согласны на ученицу, мы остановимся.

Эмма ожидала, что Матиас откажется. Возможно, даже надеялась. Тогда ответственность вернулась бы к людям, привычным к ней.

Он посмотрел на трубку.

— Я хочу знать, сделал ли это. Если продал показания и сам устроил провал... Я должен знать, можно ли мне верить.

— Маяк не решает, можно ли вам верить, — сказала Эмма. — Он покажет ваше восприятие. Мы всё равно будем проверять.

— Хорошо. Смотрите вы.

Согласие записали отдельно. Матиас поставил подпись неровно, но без колебания.

Бригитта добавила условие остановки: два движения большим пальцем или слово «довольно». Матиас попробовал сигнал, пока все смотрели. Эмма повторила его вслух и записала на верхнем поле.

— Если я окажусь в другом эпизоде и вы захотите остановить просмотр, сигнал всё равно сработает? — спросила она.

— Маяк передаёт телесное состояние владельца через ключ, — сказал Освальд. — Вы почувствуете резкое сопротивление, если не будете слишком заняты собственным поиском.

— А если буду?

— Тогда я выведу вас и закончу обучение на сегодня.

Не угроза. Граница.

Роберт раскрыл схему маршрута.

— Последнее ясное воспоминание?

— Вышел из Палаты. Шёл дождь. На башне пробило пять. Футляр был под пальто.

— Следующее?

— Ступени моего дома. Уже темно. Футляр в руке, но пустой. Правый ботинок промок. Левый почти сухой.

— Между ними совсем ничего? — спросила Эмма.

— Иногда кажется, что есть комната. Потом думаю о ней — и она исчезает.

— Что остаётся, когда исчезает?

Матиас нахмурился.

— Горечь.

— Во рту?

— Да. И тепло здесь.

Он коснулся места за правым ухом.

— Ещё мокрая шерсть. Рука на плече. Не тяжёлая. Как будто меня успокаивали.

Эмма записала каждое ощущение в первый столбец как сообщённое владельцем, не увиденное ею.

— Вы сказали после пропуска было облегчение.

— Было. Я стоял с пустым футляром и знал, что случилось что-то ужасное. Но внутри... будто всё уже решили. Сестра будет жить. Мне не о чем беспокоиться.

— Почему сестра? — спросила Эмма.

Роберт перелистнул страницу.

— Лина Лорк, семнадцать лет. Болезнь лёгких. Семья задолжала лечебнице восемьдесят крон. За день до исчезновения долга неизвестный внёс полную сумму и гарантировал дальнейшее лечение.

— После встречи?

— Платёж зарегистрирован утром того же дня, — сказал Роберт. — До пяти часов.

Эмма посмотрела на него.

— Значит, деньги внесли прежде, чем получили документ.

— Или прежде, чем завершили заранее согласованный обмен.

Матиас сжал руки.

— Я не соглашался.

— Вы встретились добровольно, — сказал Роберт.

— Мне передали записку, что речь о лечении Лины.

— Вы не сообщили начальнику.

— Потому что тогда меня бы отстранили от маршрута, а встречу запретили. Я хотел только услышать предложение.

— Какое предложение вы ожидали? — спросила Эмма.

Матиас закрыл глаза.

— Не знаю.

Роберт ничего не сказал. Его молчание было точнее обвинения.

— Знаете, — мягко сказала Эмма. — Иначе вам не было бы так стыдно до вопроса.

Курьер долго смотрел в пол.

— За неделю до этого я думал продать копию маршрута. Не сами показания. Только время перевозки другому человеку, чтобы он перехватил футляр. Мне казалось... если я не открою его сам, это не то же самое.

— Сделали? — спросил Роберт.

— Нет. Никому не говорил. Никто ещё не предлагал. Но когда пришла записка про Лину, я подумал, что кто-то узнал.

— И пошли.

— Да.

— Это войдёт в отчёт как добровольно сообщённый мотив и сокрытие контакта, — сказал Роберт.

Матиас побледнел.

Эмма почувствовала резкое желание возразить. Мысль о больной младшей сестре сразу нашла Тиля: если бы ему требовалось лечение, разве она не пошла бы на встречу? Не выслушала бы? Может быть, солгала бы себе теми же словами — только маршрут, только разговор.

Она представила восемьдесят крон на столе мастерской. Йорен мог заработать их за месяцы, если не есть и не покупать дерево. Марта продала бы запас ткани. Ларс нашёл бы человека, способного одолжить, и слишком поздно спросил бы о цене. Эмма пошла бы на встречу.

Пошла бы — не означало отдала бы.

Но теперь она понимала, почему Роберт не считал сам приход невинной случайностью.

Но Матиас сам разрешил сообщить. Доброта к нему не давала права сделать признание неслышимым.

— Он ещё ничего не продал, — сказала она.

— Я этого и не утверждал, — ответил Роберт.

— Но вы уже решили, что встреча была обменом.

— Это рабочая версия.

— Моя — что он отказался, и после этого с ним что-то сделали.

— На чём она основана?

Эмма хотела сказать: на том, как он говорит о сестре. Но это было чувство, не доказательство. Она посмотрела на свои три столбца.

— На сочувствии, — признала она. — Значит, пока ни на чём.

Роберт чуть кивнул.

— Моя версия основана на встрече, платеже и мотиве. Но я ожидал признания ещё до того, как вошёл сюда. Это тоже предубеждение.

Эмма не ожидала от него такого ответа.

Освальд подал голос впервые за весь разговор:

— Теперь, когда все признали собственную способность ошибаться, можно заняться чужой.

Эмма попросила Матиаса ещё раз описать ощущения. Дождь. Пять ударов. Горечь. Мокрая шерсть. Правый ботинок. Рука на плече. Тепло за ухом. Облегчение, похожее на известие, что сестра переживёт ночь.

— Кто-нибудь раньше говорил вам: «Теперь вам не о чем беспокоиться»? — спросила она.

Матиас вздрогнул.

— Да. Лекарь в старой лечебнице. Когда Лина болела первый раз. И в пропавшие часы... Кажется, тоже.

— Вы слышите голос?

— Нет. Только знаю слова.

Эмма встала перед каменной чашей. Роберт занял место снаружи круга, Освальд — у её левого плеча.

— Решение? — спросил наставник.

Она посмотрела на Матиаса.

— Я войду. И буду искать только два часа и необходимые ориентиры.

Стражу в зал не пустили, наручники сняли у самого порога.

Это оказалось важнее, чем Эмма думала.

— Господин Лорк, — сказала она, — пока ваша ладонь лежит на камне, я внутри. Уберёте — я выйду. Немедленно и без обсуждения.

— А если я уберу случайно?

— Тогда мы начнём заново.

— А если я уберу нарочно, потому что вы подойдёте близко к чему-то моему?

Роберт, стоявший у двери, шевельнулся. Эмма не оглянулась.

— Тогда мы тоже начнём заново, — сказала она. — И я запишу в отчёте, что вы остановили просмотр, потому что имели на это право. Не потому, что вам есть что скрывать.

Матиас смотрел на неё несколько секунд, потом положил руку на чашу.

Рука была холодная и дрожала.

Эмма произнесла вслух: ключ Матиаса Лорка, взятый по судебному разрешению; ищу два часа между пятью и семью вечера семнадцатого сентября; не ищу ничего о его сестре.

Последнее она добавила сама. Освальд поднял бровь и промолчал.

Потом коснулась ключа.

Поле жизни Матиаса раскрылось неровными огнями, и Эмма, уже знавшая, чего ждать, всё равно на мгновение растерялась: у Олле простор был широкий и старый, с длинными тёмными промежутками между вспышками, а здесь всё лежало тесно, близко, почти друг на друге, потому что двадцать три года умещаются в пространство, которое человек успевает обойти за одну ночь. Ярких пятен было меньше — не оттого, что жизнь оказалась беднее, а оттого, что была короче.

Тёплых пятен было мало. Эмма искала их нарочно — так учил Освальд, начинать с хорошего, потому что хорошее реже врёт, — и насчитала едва десяток на всю жизнь: мать, вынимающая пирог; река летом; чья-то похвала за прямую спину; вечер, когда Лина впервые засмеялась после болезни. Всё остальное было либо серым, либо тёмным, и тёмного было очень много для двадцати трёх лет.

А поверх всего, сквозь всё, соединяя годы одной длинной золотисто-белой дорогой, горел страх за Лину: он лежал на детских днях и на вчерашнем утре одинаково ровно, он подсвечивал даже те эпизоды, где сестры не было рядом, и Эмма поняла, что этот человек не помнит ни одного дня своей взрослой жизни отдельно от неё.

Ей стало его жалко — просто, по-человечески, ещё до всякого дела. Она отметила это чувство отдельно, как учили, и всё равно не смогла от него избавиться.

Эмма собрала дождь, горечь, мокрый ботинок, прикосновение и облегчение.

Яркое пятно ответило немедленно.

— Пять ударов, — напомнил Освальд снаружи.

Эмма услышала, но пятно уже раскрыло запах лечебницы и присутствие Лины. Собственный страх ошибиться смешался с желанием поскорее доказать, что Матиас не продал документ.

Она шагнула к нему, не добавив пустой футляр и пять ударов часов.

Глава 12

Дождь был тот же.

Он бил по стеклянной крыше лечебницы — не барабанил, а именно бил, тяжёлыми плотными пригоршнями, так что звук стоял в помещении, как чужой разговор, — и стекал за воротник Матиаса тонкой холодной струйкой, которую тот давно перестал замечать. Правый ботинок промок насквозь: в подошве разошёлся шов, и Эмма чувствовала под пальцами ноги мокрый чулок, сбившийся складкой у пятки, и это ощущение было настолько подробным, настолько не её и настолько неотличимым от своего, что на секунду она забыла, зачем сюда пришла. Во рту оставалась горечь от успокаивающих капель. Ладонь лекаря лежала на его плече, тяжёлая и тёплая.

— Теперь вам не о чем беспокоиться, — сказал тот. — Кризис миновал.

Облегчение подломило колени.

Матиасу было восемнадцать. Он простоял под дверью лечебной палаты всю ночь, потому что сестра задыхалась, а его не пускали внутрь. В кармане не осталось денег. Последнюю вещь матери — серебряную застёжку — он заложил за лекарства три дня назад.

Теперь Лина будет жить.

Чужая любовь захлестнула Эмму — и это было не сочувствие, не понимание и даже не сопереживание, а именно любовь, полная, взрослая, ни на секунду не сомневающаяся в себе, — она смотрела на облупленную белую дверь палаты и знала с абсолютной, не требующей проверки достоверностью, что за этой дверью находится самый важный человек на земле, и что всё остальное — закон, работа, приличия, собственное тело, собственная жизнь — имеет цену ровно до тех пор, пока помогает Лине дышать.

Где-то очень далеко, за пределами этого дождя, у девушки по имени Эмма Вейн было двое братьев, и она узнала это чувство мгновенно, и именно поэтому чуть не осталась в нём.

Матиас поклялся никогда больше не позволять бедности решать, умрёт его сестра или нет.

Эмма почти пошла за этой клятвой дальше. Она тянулась к будущим эпизодам, где он сэкономил, брал дополнительные маршруты и пересчитывал монеты у постели Лины.

Но футляра не было.

Не было пяти ударов часов. Ботинок промок целиком, а не только у рынка. Мокрая шерсть пахла лечебницей, не неизвестной комнатой. Матиас был на пять лет моложе.

Эмма остановилась.

В прошлый раз Освальду пришлось вытаскивать её из шторма. Теперь она сама произнесла:

— Не тот день.

Клятва сопротивлялась. Лина жила, и разве это могло быть ошибкой? Эмма отступила от двери палаты, удерживая собственное имя.

Эмма Вейн. Внутренний зал Маяка. Тиль. Холод стекла.

Она вышла прежде, чем Освальд вмешался.

Рабочий зал возник вместе с болью в коленях. Эмма открыла глаза. Матиас сидел там же, но на секунду она увидела в нём восемнадцатилетнего мальчика и едва удержалась, чтобы не спросить, как Лина дышит сегодня.

— Неверный эпизод, — сказала она.

Роберт посмотрел на часы.

— Четыре минуты.

— Пять лет назад. Лечебница. Дождь, правый ботинок с разошедшимся швом, горькие капли, рука лекаря, та же фраза и облегчение после кризиса Лины.

— Почему вошли? — спросил Освальд.

Эмма могла перечислить совпавшие ориентиры. Все были настоящими.

— Потому что хотела, чтобы это оказался нужный эпизод.

Матиас поднял голову.

— Почему?

— В нём вы были человеком, который спасал сестру. Я уже предполагала, что вы отказались от сделки. Нашла память, где ваше решение казалось благородным, и перестала проверять дату.

Она сказала это владельцу ключа, не только наставнику. Матиас отвёл взгляд. Возможно, признание ошибки пугало его сильнее уверенного отчёта.

— Значит, вы увидите то, что хотите? — спросил он.

— Маяк хранит не то, что я хочу. Но я могу выбрать не ту дорогу и неправильно назвать значение увиденного.

— Тогда какая от него польза?

Роберт ответил раньше Освальда:

— Та же, что от свидетеля. Он даёт материал для проверки, а не освобождает нас от неё.

Матиас закрыл лицо руками и просидел так довольно долго, и никто в комнате его не торопил — ни Бригитта, которая обычно торопила всех, ни Роберт, который считал минуты по службе, ни Освальд, который вообще редко позволял паузам длиться дольше, чем требовало дело.

— Застёжка матери, — продолжила Эмма и сразу пожалела. — Вы заложили её за лекарства. Это не относится к делу.

— Я сам рассказал про долг, — сказал он глухо.

— Но не про вещь.

Освальд подвинул к ней лист отчёта.

— Что относится?

Эмма заставила себя разделить увиденное.

— Облегчение в пропавших часах могло вести не к самому платежу. Оно связано с обещанием, что Лина будет в безопасности. Похожая фраза уже стала для него знаком спасения. Человек, который это знал или понял, мог использовать её.

— «Мог», — повторил Роберт. — Третий столбец.

— Да.

— А клятва никогда больше не зависеть от денег?

Эмма помедлила.

— Мотив. Он относится к делу, потому что объясняет, почему предложение лечения было особенно сильным.

Матиас опустил руки.

— Значит, теперь вы уверены, что я продал документ.

— Нет, — сказала Эмма слишком быстро. — Вы бы не...

Роберт перебил:

— Сейчас говорите вы или его сестра?

Эмма повернулась к нему.

Вопрос прозвучал жестоко. Она уже открыла рот, чтобы сказать это, но почувствовала, как внутри поднимается чужая ярость: кто он такой, чтобы судить? Что он знает о ночи под дверью? О страхе потерять единственного человека?

Единственного.

У Эммы было два брата, родители, дом. Лина не была её сестрой.

Она прижала ладонь к столу. Шероховатое дерево. Не холодная стена лечебницы.

— Частично она, — признала Эмма. — Остаток сильный.

Роберт не выглядел довольным своей правотой. Он налил воду и поставил стакан ближе, не касаясь её.

— Поэтому я спрашиваю.

— Можно спрашивать иначе.

— Как?

Эмма не нашла ответа, который был бы одновременно мягким и достаточно сильным, чтобы пробиться через чужую любовь.

— Не знаю, — сказала она. — Но можно хотя бы не делать вид, что вопрос не ранит.

— Если буду ждать безболезненной формулировки, остаток успеет стать выводом.

— Можно сказать: «Это чувство принадлежит вам или владельцу?» — предложил Освальд. — Вопрос достаточно прямой и не сообщает заранее, какой ответ считается правильным.

Роберт повторил фразу, будто примеряя неудобный инструмент.

— Это чувство принадлежит вам или владельцу?

— Сейчас — обоим, — сказала Эмма. — Его любовь. Моя привычка защищать младшего. Вместе они сильнее, чем каждая отдельно.

— Вот это уже можно учитывать.

Освальд наблюдал за ними с непроницаемым лицом.

— Оба правы, — сказал он наконец. — Это не поможет ни одному, но сократит спор. Эмма, повторный вход сегодня запрещён.

— Я могу уточнить ориентиры и попробовать снова.

— Именно поэтому запрещён. Вы всё ещё хотите защитить Матиаса с силой его собственной клятвы.

— А два часа?

Роберт закрыл трубку с кровью новой печатью.

— Проверим обычным способом.

— За это время документ могут вывезти.

— За это время вы перестанете считать один возможный исход нравственно допустимым только потому, что любите его сестру.

Матиас вздрогнул от слова «любите». Эмма тоже.

— Это не моя любовь.

— Тогда дайте ей уйти.

Эмма отошла к открытому окну. Холод помогал хуже, чем после памяти Олле. Вина лодочника была тяжёлой, но чужой. Любовь Матиаса нашла внутри неё готовое место.

— Как долго? — спросила она.

— Может пройти к вечеру, — ответил Освальд. — Может остаться слабым следом на годы.

— Значит, после каждого просмотра я буду становиться немного всеми?

— Да.

— А вы?

Освальд посмотрел на чашу.

— Поэтому возвращение не заканчивается четырьмя словами. Нужно ещё решить, какие остатки вы согласны носить и какие нельзя кормить дальнейшими действиями.

Роберт стоял достаточно близко, чтобы слышать. Эмма вдруг поняла, что его раздражение может быть не только недоверием к неопытной ученице. Он привык работать с человеком, который шестьдесят лет учился различать чужое внутри себя. Теперь должен был приносить ключи ей.

Роберт собрал материалы и спросил курьера о маршруте ещё раз. На этот раз не о чувствах — о мостовой, поворотах, лавках, звуках. Матиас отвечал неуверенно. От Палаты до

дома он всегда ходил кратчайшим путём через площадь, но правый ботинок промок только у рынка. Дождь шёл везде одинаково. Где-то должна была быть глубокая лужа или повреждённый водосток.

— Комната, которая появляется и исчезает, — сказала Эмма. — Что в ней слышно?

— Скрип. Как ступенька.

— Запах?

— Аптека. Или лечебница. Не знаю.

— Воск? — спросил Роберт.

Матиас нахмурился.

— Красный. На столе или на пальто. Я не уверен.

Роберт отметил ответы на карте.

— Пойдём по маршруту от Палаты. Без памяти.

— Я тоже, — сказала Эмма.

Он посмотрел на Освальда, затем на неё.

— Остаток может влиять на разговоры со свидетелями.

— А ваше предубеждение — на допросы.

— Моё не магическое.

— От этого оно не становится слабее.

— Становится проверяемое, — сказал Роберт. — Я могу показать вам записи, на которых строю версию.

— А я могу показать вам то, что увидела.

— Только через ваш пересказ.

— Значит, вы всегда зависели от Освальда так же.

Он не ответил сразу.

— Да. Но за пять лет мы знаем пределы ошибок друг друга.

— Со мной вы их никогда не узнаете, если будете ждать, пока я сначала получу его шестьдесят лет опыта.

Освальд кашлянул в кулак.

— Она поедет. Полевое расследование — единственный известный способ показать ученикам, что мир существует и за пределами кристалла.

Роберт явно собирался возразить. Потом взглянул на карту с двумя возможными дорогами.

— При одном условии. Вы не разговариваете с Матиасом наедине, пока остаток не пройдёт. И в каждом выводе называете, откуда он взялся.

— При встречном условии. Если вы заранее считаете его виновным, тоже говорите об этом вслух.

— Уже сказал.

— Тогда согласна.

Страж вернул Матиасу наручники. Эмма почувствовала болезненный протест, но не попросила снять их: курьер действительно скрыл встречу и вынес секретный документ. Остаточная любовь не отменяла этого.

Когда его увели, она стояла у окна, пока лодка не появилась у внешней площадки.

— Вы слишком легко ему доверяете, — сказал Роберт за спиной.

— А вы слишком легко не доверяете.

— Поэтому нужны улицы.

Эмма обернулась.

— Что?

Он свернул карту.

— Если чувство ведёт не туда, посмотрим, куда вёл его ботинок.

Глава 13

К полудню следующего дня Роберт знал о правом ботинке Матиаса больше, чем хотел знать о любой части чужой одежды.

Подошву чинили дважды. Последний раз — месяц назад дешёвой льняной нитью, которая разбухала от воды, но не могла объяснить, почему левый сапог остался почти сухим под тем же дождём. На мостовой между Палатой и домом курьера было девять луж, четыре навеса и ни одного места, где промокала только правая нога.

Эмма шла рядом, приподнимая край серого плаща над грязью, и островная одежда делала её похожей на служительницу ровно до тех пор, пока она не останавливалась у очередной лавки с тканями — а останавливалась она у каждой, трогала край сукна двумя пальцами, называла про себя цену и шла дальше, ничего не покупая, потому что покупать было не на что и незачем.

— Вы всё рассматриваете? — спросил Роберт после третьей остановки.

— Нет. Только то, что вижу.

— Разница огромна.

— Для расследователя вы на удивление не любите, когда люди смотрят по сторонам.

— Я люблю, когда они смотрят туда, куда относится дело.

Эмма указала на выцветший навес над лавкой пряностей.

— Такой краситель продают только в нижней гавани. Если кусок ткани из комнаты был окрашен здесь, это относится?

— У нас пока нет куска ткани из комнаты.

— Значит, не относится.

Она пошла дальше, и Роберт не смог решить, уступила или посмеялась над ним.

Остаток любви к Лине, по словам Эммы, почти прошёл, и Роберт не стал спрашивать, как именно она это определяет, — отчасти потому, что не понял бы ответа, отчасти потому, что за два дня успел заметить: о собственном состоянии она отвечает быстрее и хуже, чем о деле. Девушка держалась увереннее, чем вчера, но всякий раз, когда речь заходила о намерениях Матиаса, начинала слишком тщательно выбирать слова.

Маршрут они повторили по часам: вышли из Палаты сразу после пяти ударов, свернули к площади, миновали книжный ряд и аптеку — тем же шагом, каким ходит человек, несущий запечатанный документ и желающий поскорее его сдать. Дождя сегодня не было, и поэтому Роберт нёс с собой мерную кружку воды, выливал её в каждое подозрительное углубление мостовой и вызывал у прохожих ровно то количество внимания, какое вызывает взрослый мужчина в хорошем пальто, идущий по рынку с кружкой. Эмма сперва смотрела с удивлением, потом стала помогать.

— Ваши расследования всегда так выглядят? — спросила она, пока он поливал ступеньку.

— Только торжественные.

— Жаль, семья не видит.

На площади они нашли две глубокие лужи. Обе промочили бы сапоги целиком. У дома Матиаса сточная канава проходила слева. Ничего.

Роберт развернул карту.

— Облегчение ещё здесь? — спросил он.

— Слабее.

— Это чувство принадлежит вам или владельцу?

Эмма узнала исправленную формулировку.

— Владелец. Но я рада, что Лина жива. Это уже моё.

— Если найдём доказательство продажи?

- Я всё равно буду рада, что она жива.
 - Хорошо.
 - Вы проверяли остаток или мою способность быть следователем?
 - И то и другое.
 - Тогда предупреждайте.
 - Проверка хуже работает после предупреждения.
 - Зато люди лучше работают, когда знают, что их проверяют.
- Роберт сложил карту. Эмма ожидала очередного возражения.
- Хорошо, — сказал он. — В следующий раз предупрежу.

Он произнёс это без особенной теплоты, но Эмма уже поняла: для Роберта изменение процедуры было извинением, которое он предпочитал словам.

— Свидетель видел встречу у крытого рынка. Если после неё он пошёл домой прямой дорогой, ботинок не объясняется.

- Значит, пошёл не прямой.
- Или промочил его в комнате.
- Тогда зачем память о рынке?
- Встреча могла быть отдельно от передачи.

Они вернулись на квартал назад и пошли вдоль внешней стены рынка, где торговали дешёвой посудой, старой одеждой и всем прочим, что по городскому уложению не полагалось выставлять рядом с едой, — и где навесы, натянутые каждым торговцем на свой лад, почти сходились над узким проходом, образуя длинный неровный жёлоб, о котором никто никогда не думал как о жёлобе. Эмма остановилась у одного, потёрла край ткани и посмотрела вверх.

- Этот недавно перешивали.
- Вижу.

— Нет, вы видите новый шов. Старый порвался из-за тяжести воды. Полотно натянули ниже, но сток не перенесли.

- Она отошла к краю мостовой. Над её правым плечом из медной трубы капала вода.
- Во время дождя здесь льёт прямо на проход.

Роберт вылил кружку в желоб над навесом. Вода побежала по ткани, собралась в провисшем углу и с шумом обрушилась на мостовую справа от воображаемого пешехода. Узкая глубокая лужа мгновенно залила бы один ботинок.

- Половина воды попала на сапог самого Роберта.
- Эмма посмотрела вниз.
- Проверка успешна.
- Не комментируйте.
- Я отделяю наблюдение от вывода.

Он вылил остаток воды из ботинка и впервые за весь день почти улыбнулся. Почти — потому что сразу увидел следившую за ними хозяйку прилавка и снова стал следователем.

- Боковой путь от места встречи, — сказал он.
- Куда?

За навесом находилась лестница. Нижняя дверь вела в лавку старьевщика, верхняя — к комнатам над аптечным складом.

Хозяйка прилавка следила за ними, сложив руки на груди. Роберт показал знак.

— Городское следственное управление. Семнадцатого сентября, между пятью и семью, вы работали здесь?

- Не помню.
- По вашей лицензии рынок закрыт только по понедельникам. Это был четверг.
- Тогда работала. Но людей не запоминаю.

— Молодой мужчина, тёмное пальто, кожаный футляр. Встретился с хорошо одетым человеком и прошёл к лестнице.

— Не видела.

Женщина уже смотрела не на Роберта, а на выходы. Официальный тон превратил её из возможного свидетеля в человека, который заранее защищает себя.

Эмма коснулась края навеса.

— У вас здесь нить разошлась.

— Где?

Женщина мгновенно подошла. Эмма показала место возле нового шва.

— Если оставить, при следующем дожде порвётся дальше. У вас есть игла потолще?

— Вы из следствия или шить пришли?

— Пока что шитьё — единственное, что я действительно умею.

Хозяйка хмыкнула и принесла иглу. Эмма встала на перевёрнутый ящик и несколькими стежками закрепила край. Роберт ждал, понимая, что любой вопрос сейчас снова закроет женщину.

— В тот день тоже лило, — сказала хозяйка, подавая Эмме моток. — Как из ведра. Один дурень встал под самый сток, будто дождя мало.

— С футляром? — спросила Эмма, не оборачиваясь.

— Может. Под пальто что-то было. Его встретил господин в синем. Не здешний.

— Они спорили?

— Нет. Молодой сперва не хотел идти, потом тот сказал про сестру. Он сам поднялся по лестнице.

— Один мужчина? — спросил Роберт.

Женщина бросила на него взгляд.

— Того, кто ждал наверху, я не видела. Но лестница скрипела дважды после них. Пятая ступень. Всегда выдаёт людей.

— Когда молодой вышел?

— Не заметила. Дождь кончился, я убирала товар.

Эмма закончила шов и вернула иглу.

— Теперь выдержит.

Хозяйка провела пальцем по стежкам.

— Комната третья слева. Сдавал аптекарь, пока не нашли плесень. Сейчас пустая.

На лестнице пятая ступень действительно скрипела. Третья дверь слева была заперта, но судебное разрешение распространялось на место возможной передачи. Владелец склада пришёл через двадцать минут с ключом и жалобами на ущерб деловой репутации.

Комната оказалась маленькой: стол, три стула, пустой шкаф, мутное окно над рынком. Плесению не пахло. Зато в щелях пола держался горький аптечный запах.

Роберт начал с двери и окна. Следов взлома нет. Из окна можно выбраться на крышу навеса, но во время дождя это заметили бы. На столе осталась длинная царапина, подходившая к металлическому углу футляра. У стены — тёмное пятно от разлитой настойки.

Эмма открыла шкаф.

— Здесь что-то висело.

— Почему?

— Пыль на перекладине стёрта в одном месте. Тяжёлое пальто.

Она присела и подняла с пола тонкую полоску ткани длиной с ноготь. Тёмно-синяя, почти чёрная.

— Подкладка, — сказала Эмма.

Роберт взял находку пинцетом.

— Из пальто свидетеля?

— Его подкладка серая и дешёвая. Эта шёлковая, плотная. Край не от обычного разрыва.

— А от чего?

Эмма попросила нож. Сложила найденную полоску, провела тупой стороной лезвия по краю.

— Её рассёк металл изнутри. Здесь воск.

Под светом на волокнах блеснула красная крошка.

— Потайной карман для документов, — продолжила она. — Его укрепили подкладкой. Если положить тяжёлый футляр и резко потянуть, металлический угол прорежет ткань. Такой ремонт делают в нескольких дорогих ателье. Мать узнает стежок точнее.

Роберт посмотрел на её руки. Эмма не гадала. Она читала повреждение так же, как он читал положение стула или след обуви.

— Значит, документ оказался в чужом пальто.

— Да. Но это не говорит, отдал его Матиас или кто-то забрал после.

На внутреннем краю стола Роберт нашёл ещё красный воск. Печать с документа ломали здесь. В пепельнице лежал обгоревший край предьявительской расписки — та же лечебница, где находилась Лина.

Они проверили лечебницу до закрытия. Смотритель счетов подтвердил: утром неизвестный предьявил банковскую гарантию под вымышленным именем. Платёж не зависел от последующей передачи — по крайней мере на бумаге. Лечение было оплачено заранее.

— Это мог быть знак доброй воли, — сказал Роберт на улице. — Доказательство, что заказчик выполнит обещание.

— Или способ заставить Матиаса чувствовать долг ещё до встречи.

— Если бы он отказался, заказчик мог отозвать гарантию.

— Но не отозвал.

— Документ всё равно пропал.

Они остановились под навесом напротив лечебницы. Вечерний дождь начинался мелкой пылью. Эмма держала серый капюшон одной рукой, в другой — пакет с тканью.

— Вы видите заранее согласованную продажу, — сказала она. — Матиас пришёл, получил подтверждение, отдал футляр, выпил настойку и теперь скрывает сделку за настоящим провалом.

— Возможная версия.

— Я вижу, что он пришёл добровольно, но мог отказаться. Тогда его одурманили и забрали документ.

— На чём основан отказ?

— Пока ни на чём. Но на чём основано согласие после входа в комнату?

Роберт посмотрел на расписку. Оба объяснения совпадали с одними и теми же уликами до определённой точки.

— Ни на чём, — признал он. — Поэтому нужен второй просмотр.

— Теперь у нас есть место, запах, скрип пятой ступени, красный воск, ткань и царапина футляра.

— И точное время. Хозяйка слышала шесть ударов, когда закрывала часть товара. Матиас был наверху.

На остров они вернулись последним вечерним окном. Освальд выслушал отчёт, рассмотрел ткань и понюхал запечатанный образец настойки.

— Обычные успокаивающие капли могут спутать последовательность, — сказал он. — Большая доза оставляет дыры. Но настолько ровная граница встречается редко.

— Редко не значит невозможно, — сказал Роберт.

— Именно поэтому вы мне нравитесь. Даже правоту превращаете в неудобство.

Матиаса привезли из-под стражи на вечернем окне. Он выслушал, что именно она будет искать и чего искать не станет, кивнул и сам положил ладонь на камень — на этот раз без дрожи и без вопросов.

— Убирайте, если станет плохо, — напомнила Эмма.

— Я запомнил.

Кровь снова легла в чашу. Когда Эмма коснулась ключа, пять ударов городских часов прозвучали ясно.

Шестой превратился в гул.

Глава 14

Комнату Эмма нашла по скрипу.

Не по облегчению, которое снова тянуло к лечебнице. Не по любви к Лине. Пятая ступень жалобно отозвалась под ногой Матиаса, затем пришли запах аптечного склада, мокрая шерсть и красный отблеск воска на столе.

Воспоминание сложилось вокруг неё.

Матиас сидел у окна. Футляр держал на коленях обеими руками. Напротив находился человек в дорогом синем пальто — тот самый, которого видела торговка. Его лицо было ясным: узкий нос, светлые усы, маленький шрам у губы. Не неизвестная магия, не чудовище без черт. Обычный посредник, нервничавший сильнее курьера.

— Лечение уже оплачено, — сказал он. — Вы убедились.

— На месяц.

— На год, если договоримся.

— Вы хотите показания.

— Не содержание. Только футляр. Вам не придётся знать, что в нём.

Матиас рассмеялся один раз — коротко и без радости.

— Я нёс его из Палаты. Конечно, я знаю, что в нём.

— Вы знаете имена свидетелей?

— Нет.

— Значит, никого конкретного не предаёте.

Посредник говорил мягко, шаг за шагом уменьшая поступок. Не показания — футляр. Не люди — неизвестные имена. Не продажа — лечение сестры.

Матиас расстегнул пальто.

Эмма почувствовала его колебание как своё. Лина задыхалась за белой дверью. Серебряная застёжка матери исчезла в ломбарде. Восемьдесят крон были не деньгами, а воздухом в чужих лёгких.

Он вынул футляр.

Положил на стол.

Посредник протянул руку.

Матиас накрыл футляр ладонью.

— Нет.

— Подумайте.

— Я уже думал. Поэтому пришёл. — Он сглотнул. — Я найду другой способ.

Он убрал футляр обратно под пальто. Облегчения не было. Только страх, стыд и странная, болезненная гордость.

Эмма удержала факт отдельно. Отказ произошёл. Но эпизод ещё не закончился.

За спиной Матиаса скрипнула половица.

Он не успел повернуться.

Чья-то рука легла за правым ухом.

Мир потерял края.

Лицо человека в синем осталось на месте, но стало далёким, как портрет под водой. Второй человек находился совсем рядом — Эмма чувствовала тепло тела, слышала дыхание, видела край тёмного рукава. Когда Матиас попытался поднять голову, лицо оказалось перед ним.

И расплылось.

Не забылось. Эмма видела глаза, нос, рот — и не могла удержать их вместе. Черты смещались, словно кто-то проводил мокрой ладонью по свежему рисунку. Голос звучал низко, затем высоко, затем превращался в гул шестого удара часов.

Эмма попыталась обойти Матиаса и посмотреть на незнакомца сбоку.

В обычном воспоминании она двигалась почти свободно: могла обойти стол, наклониться к предмету, вернуться к уже сказанной фразе и выслушать её второй раз, — и за девять дней успела к этому привыкнуть настолько, что теперь, упершись в границу чужого восприятия, растерялась, как человек, которому впервые не открылась дверь в собственном доме. Маяк не достраивал ничего. За плечом Матиаса пространство было плоским, и в нём существовали ровно три вещи, которые он успел поймать боковым зрением, — шкаф, полоска стены и край рукава. Лица с той стороны не было, потому что его там никогда не было и для самого Матиаса.

Она подняла взгляд к мутному оконному стеклу в надежде поймать отражение.

Человек отражался.

И отражение было испорчено тем же способом.

Значит, дело было не в угле обзора и не в одной испорченной картинке: повреждение сидело глубже — в том месте, где отдельные черты собираются в человека, которого можно узнать и назвать.

Горечь появилась во рту без момента, когда дали лекарство.

Страх оборвался.

На его месте возникло облегчение.

Теперь вам не о чем беспокоиться.

Фраза не была услышана, но уже находилась внутри Матиаса. Сестра будет жить. Встреча не имела значения. Документ не имел значения. Всё важное решено.

Эмма попыталась посмотреть, что делал человек. Она приблизилась к руке возле уха — и комната растянулась. Стены отступили, стол стал слишком длинным. Источник прикосновения исчез, осталось только тепло.

Она отступила на секунду раньше, чем потеряла собственное имя.

Поле жизни Матиаса окружило повреждённый участок. Эмма попробовала войти через футляр. Увидела его на коленях, отказ, скрип — и тот же гул.

Через голос посредника. Отказ, движение его глаз за плечо Матиаса — размытие.

Через красный воск. Рука в дорогой перчатке ломает печать, но пальцы принадлежат уже позднему воспоминанию Матиаса о пустом футляре. Дорога складывалась сама в себя.

Каждая попытка отнимала что-то маленькое. Сначала Эмма забыла, сколько ударов было до гула. Потом не смогла вспомнить цвет платья Бригитты в настоящем зале. На третьем круге имя Матиаса стало казаться именем её младшего брата.

Повреждение не просто скрывало эпизод.

Оно затягивало внутрь всякого, кто пытался пройти силой.

— Не ломайте границу, — донёсся голос Освальда. — Опишите.

— Событие есть, — сказала Эмма. — Дороги к части события нет.

— Это вывод. Что вы видите?

Она заставила себя назвать конкретное: черты, которые невозможно удержать; голос без высоты; прикосновение без руки; горечь без момента приёма; страх, сменившийся облегчением без причины.

— Выходите, — сказал Освальд.

— Я ещё не знаю, как забрали футляр.

— Именно.

Эмма хотела спорить. Затем почувствовала, что футляр действительно перестал казаться важным. Два часа — пустяк. Матиас дома, Лина спасена, всё закончилось хорошо.

Решение принадлежало не ей.

— Эмма Вейн, — сказала она. — Внутренний зал. Тиль. Стекло под ладонью. Облегчение удерживало сильнее боли. Оно убеждало, что возвращаться незачем. Эмма добавила пятую вещь, хотя Освальд её не учил:

— Я хотела узнать правду.

Собственное желание прорезало чужое спокойствие. Она вышла.

Колени подогнулись. Роберт успел отодвинуть чашу, прежде чем Эмма ударила её локтем. Освальд удержал девушку за плечо, но не стал сразу задавать вопросы.

— Матиас, — сказала Эмма.

— Что Матиас? — спросил наставник.

Она не знала.

— Это его имя.

— Ваше.

— Эмма Вейн.

Только после этого Освальд позволил ей продолжить отчёт.

Мир возвращался по частям и в странном порядке. Первым пришёл звук пера — Роберт записывал время, не поднимая головы, и этот сухой скрип оказался почему-то надёжнее любого голоса. Вторым — вес собственной одежды на плечах, тяжёлый и неудобный, потому что у Матиаса одежда была легче. Только потом появились лица: Освальд слева, Бригитта у двери, Роберт напротив.

— Всё неважно, — сказала Эмма.

Роберт перестал писать.

Освальд протянул ей лист с четырьмя опорами.

Она прочитала и поняла, что фраза вышла из чужого остатка.

— Нет. Простите. Именно так чувствовал Матиас после пропуска. Будто документ, встреча и два часа ничего не значат.

— Что произошло до повреждения? — спросил Роберт.

— Ему предложили обмен. Он вынул футляр, но отказался. Закрыв его и сказал, что найдёт другой способ. Потом за спиной скрипнула половица. Второй человек коснулся места за ухом.

— Вы видели лицо?

— Видела. Не могу описать. Оно не скрыто тканью и не находится вне поля зрения. Черты размываются, когда пытаюсь удержать их вместе.

— После отказа документ ещё был у Матиаса?

— Да.

— После повреждённого участка?

— Не знаю.

Роберт поставил перо.

— Тогда отказ не оправдывает его полностью. Он мог изменить решение позже.

Эмма почувствовала вспышку раздражения, но на этот раз проверила её. Не остаток. Её собственная.

— Вы слышите, что говорите? Человек отказался, к нему подошли сзади, после чего часть памяти стала невозможной — а вы всё ещё ищите способ обвинить его.

— Я ищу границу доказанного. До повреждения он отказался. После — мы не знаем. Если я назову его невиновным сейчас, защита настоящего виновника уничтожит дело одним вопросом.

— Но держать его под стражей можно?

— До проверки физических улик — да.

Освальд поднял руку.

— Спор полезен, если вы оба перестанете повторять одну фразу громче. Эмма права: перед провалом произошло внешнее действие. Роберт прав: неизвестная часть не становится удобным продолжением.

Он взял старый отчёт о ювелире. Положил рядом с новыми записями.

— Лицо, которое не удерживается. Голос превращается в гул. Благодарность или облегчение без доступной причины.

— Один рисунок, — сказала Эмма.

— Возможно, — ответил Освальд. — Или два похожих последствия разных болезней.

Он говорил осторожно, но Эмма заметила его правую руку. Пальцы лежали на столе неподвижно, слишком далеко друг от друга, словно он боялся, что они выдадут дрожь.

— Вы раньше видели такое? — спросила она.

— Я видел воспоминания, повреждённые болезнью, травмой, ядом и сильным страхом.

— Это не ответ.

— Это предел ответа, который могу дать сейчас.

Роберт посмотрел на старика. Эмма поняла, что и ему формулировка показалась уклончивой.

Роберт перечитал строки.

— Что общего? Ювелир — состоятельный вдовец шестидесяти лет, торговал камнями, болел головой, умер от удара по затылку. Матиас — курьер двадцати трёх лет, здоров, беден, жив. Разные кварталы, разные месяцы, разные люди вокруг. Общее — только то, что оба чего-то не помнят и оба перед этим кому-то были благодарны.

— Этого мало, — сказал Освальд.

— Этого меньше, чем мало. Я на таком основании не задержал бы и собаку.

Эмма ждала, что кто-нибудь всё-таки произнесёт очевидное: человеку можно намеренно убрать воспоминание. Но слово было слишком большим для двух случаев и одного непроходимого места. Освальд говорил о повреждении пути, а не о том, кто и как его повредил, и Эмма впервые заподозрила, что он говорит осторожно не из-за неё.

Роберт развернул схему комнаты.

— Второй человек стоял у стены за правым плечом?

— Да.

— Тогда при первом обыске мы искали не там.

Он отметил место возле шкафа.

— Зачем возвращаться? — спросила Эмма. Остаточное облегчение снова шептало, что дело закончено.

Роберт услышал, вероятно, не слова, а их неправильную лёгкость.

— Потому что вы только что показали, где стоял человек, которого не было в показаниях.

Глава 15

Пуговицу нашли не сразу и не за шкафом.

Первые два часа обыска дали только то, что уже было в описи. Роберт работал молча и методично, снимая комнату по частям: пол, плинтус, подоконник, зазор между сундуком и стеной. Эмма сидела на табурете у двери, потому что мешала, и от нечего делать смотрела на разбросанные вещи ювелира так, как смотрела бы на чужую работу — глазами человека, который двенадцать лет чинил то, что порвали другие.

— Здесь боролись, — сказала она наконец.

— Следствие установило, что нет. Одиночный удар сзади.

— Я не про ювелира. Я про того, второго.

Роберт выпрямился.

Эмма показала на ковёр возле шкафа. Ворс лежал в одну сторону ровно, кроме полосы длиной в шаг, где был смят поперёк и не расправился.

— Кто-то упирался. Не падал — упирался, стоя, недолго.

— Это могли сделать ваши люди из управления.

— Ваши люди ходили от двери к сейфу, и там ворс тоже примят, но продольно. — Она встала. — И вот ещё. Ювелир был аккуратный: посмотрите, как сложены футляры. А тут у него на рукаве халата, который висит на крючке, оторвана верхняя петля. С мясом. Такие петли не отрываются сами, их выдирают, когда хватают человека за грудь.

Роберт снял халат с крючка, вывернул и долго рассматривал вырванную петлю.

— Он схватил кого-то за одежду, — сказал он.

— Или кого-то схватили за одежду, а он вцепился в ответ.

Они прошли полосу смятого ворса шаг за шагом. В двух ладонях от края ковра, в щели между половицами, куда закатывается всё, что теряется в комнатах, лежала пуговица.

Тёмно-синяя, обтянутая тканью. С обратной стороны в ушке осталась нитка, а на нитке — треугольный лоскут той же ткани: не срезанный, а вырванный вместе с куском подкладки.

Эмма достала её кончиками пальцев и повернула к свету.

— Не срезали, — сказала она. — Дёрнули.

— Как давно?

— Нить не потемнела в изломе. Недели две, не больше.

Роберт положил находку в конверт и подписал его дважды — сверху и по клапану.

— За девять дней до убийства у ювелира был посетитель, лица которого он не удержал, — сказал он. — Ювелир схватил его за пальто и оторвал петлю. Тот выдернулся, и с него слетела пуговица.

— И он её не нашёл.

— Он её не искал. — Роберт посмотрел на щель между половицами. — Значит, торопился.

Эмма ещё раз повернула пуговицу. Ткань была тонкой, плотной, крашенной хорошим индиго; изнанка лоскута — со следом двойной косой строчки.

— Подкладка дорогая, — сказала она. — И шов не фабричный.

— Достаточно, чтобы найти мастера?

— Достаточно, чтобы найти человека, который умеет отличать мастеров.

До мастерской Вейнов они добрались после полудня.

Эмма не была дома почти две недели. Колокольчик над дверью звякнул точно так же, запах мела и утюга ударил сильнее любого остатка, и на секунду ей показалось, что она просто вернулась с рынка.

Марта вышла из задней комнаты с булавками во рту. Увидев дочь, вынула их все разом — и не двинулась с места.

— Почему не предупредила?

— Мы по делу.

— По делу, — повторила Марта.

Она положила булавки в подушечку, по одной, аккуратно, и Эмма поняла, что это плохой знак: мать раскладывала вещи по местам, когда не хотела говорить сразу.

— Две недели, — сказала Марта. — Ни одного письма.

— Я писала.

— Ты писала четыре страницы про приливную дорогу и людей, которых я не знаю. Про то, как ты, там не было ничего.

— Мам.

— И приезжаешь ты не ко мне. Ты приезжаешь к пуговице.

Она сказала это ровно, без слёз, и от этого стало гораздо хуже.

Только после этого мать заметила Роберта.

Он снял шляпу.

— Роберт Ренн, городское следственное управление. Прошу прощения, госпожа Вейн. Приезд по делу — моё решение, не её.

— Я догадалась.

Из задней комнаты появился Ларс. Взгляд его прошёл от серого плаща Эммы к футляру Роберта и остановился на лице следователя.

— Тот самый? — спросил Тиль из-за занавески, не показываясь целиком.

— Какой тот самый?

— Который считает тебя опасной.

— Я не использовал это слово, — сказал Роберт.

— Освальд использовал.

— Он склонен украшать.

Тиль вышел, посмотрел на сестру и остался стоять у стены — не подошёл, не обнял, а именно остался стоять, скрестив руки, как стоял бы Ларс.

Эта поза у двенадцатилетнего мальчика выглядела нелепо и подействовала на Эмму сильнее всего остального.

— Ты вырос, — сказала она.

— За две недели не вырастают.

— Значит, я плохо смотрела раньше.

— Значит, плохо.

Йорен работал на верфи, поэтому семья собралась не полностью. Эмма ощутила облегчение и сразу поняла, что скрывает: она не хотела, чтобы отец увидел, как после просмотра дрожат пальцы, хотя дрожь почти прошла.

Марта разложила ткань и пуговицу под лампой, придвинула лампу ближе, достала из ящика увеличительное стекло, которым пользовалась раз в год, и склонилась над столом с тем полным, ни на что не отвлекающим вниманием, какого Эмма не видела у неё ни разу за весь разговор о двух неделях без писем.

— Ателье Севера, — сказала она через минуту. — Закрылось два года назад.

— Уверены? — спросил Роберт.

Она подняла на него взгляд поверх стекла.

— Нет. Я часто называю первое ателье, чтобы проверить, насколько следователь доверчив.

Эмма спрятала улыбку.

— Почему их работа узнаваема? — спросил Роберт, ничем не показав, что услышал насмешку.

— Они укрепляли потайные карманы двойной косой строчкой и обтягивали пуговицы той же тканью, что подкладку. Красиво, дорого и бессмысленно. Снаружи пуговицы всё равно чёрные.

— Заказы сохранились?

— Последний хозяин продал книги мастеру Хольцу. Он держит лавку у северных ворот. Марта повернулась к дочери.

— Ты ела?

— Да.

— Что?

Эмма не сразу вспомнила.

— Кашу.

— Утром, — сказал Роберт.

Ларс перевёл взгляд на него. Теперь в нём появилось новое, более предметное подозрение.

— Вы следите, когда она ест?

— Сегодня это влияло на допустимость повторного просмотра.

— И он был?

Эмма вмешалась:

— Ларс, не начинай.

— Я ещё не начинал. Я спросил.

— Был. Всё в порядке.

Брат посмотрел на её руки.

Эмма спрятала их в складках плаща слишком поздно.

— Как вас возвращают? — спросил Ларс у Роберта.

— Четырьмя опорами.

— Я спросил, как вы её возвращаете.

— Пока это делает Освальд.

— А вы?

— Я нахожусь снаружи просмотра и слежу за временем, владельцем ключа и процедурой.

— Значит, если она потеряется, вы запишете, когда именно?

— Ларс, — сказала Эмма.

Роберт не отвёл взгляда.

— Если Освальд не сможет, я назову её имя, место, близкого человека и ощущение, выбранное до входа.

— Какого близкого человека?

— Сегодня она назвала Тиля.

Младший брат перестал жевать хлеб. Ларс посмотрел на Эмму, потом на Роберта.

— Спросите дважды, — сказал он.

— Что?

— Если она отвечает слишком быстро и вам кажется, что всё нормально, спросите ещё раз. Эмма умеет говорить «да», когда хочет, чтобы остальные перестали беспокоиться.

— Я сижу здесь, — напомнила она.

— Поэтому можешь подтвердить.

Роберт не улыбнулся.

— Учту.

Эмма хотела возразить. Вместо этого поняла, что он действительно учтёт, и это оказалось неудобнее.

Марта молча ушла на кухню. Через несколько минут перед Эммой стояла тарелка горячей похлёбки, а перед Робертом — чашка чая, хотя он ничего не просил.

— Она говорит «всё в порядке», когда не хочет объяснять, — сообщил Тиль.

— Спасибо, — сказала Эмма.

— Я помогаю расследованию.

Роберт неожиданно кивнул ему.

— Полезное наблюдение.

— Не поддерживайте его.

— Я отделяю наблюдение от вывода.

Тиль посмотрел на него с уважением, которого Эмма не одобряла.

— А вы умеете смотреть воспоминания? — спросил мальчик.

— Однажды пробовал.

— И что увидели?

— Улицу. Совершенно обыкновенную улицу в квартале, где я никогда не был.

— И всё?

— И всё. Я двое суток был уверен, что живу на ней. Дважды после службы приходил туда и стоял у чужого подъезда, потому что мне казалось, что я забыл ключ.

Тиль замер с куском хлеба на полпути ко рту.

— А вас видели?

— Дворник. На второй день он спросил, к кому я.

— И что вы сказали?

— «К себе».

Тиль издал звук, который бывает, когда двенадцатилетний человек изо всех сил старается не расхохотаться при постороннем взрослом, и проиграл эту борьбу. Марта, не оборачиваясь от плиты, сказала: «Тиль». Эмма спрятала лицо в чашку.

Роберт остался совершенно серьёзным, но поставил свою так, чтобы не было видно край рта.

— Он мне поверил, — добавил он.

Тогда засмеялась и Марта.

Книги ателье привели к судебному посреднику по имени Рудольф Сенн, который четыре года назад заказывал тёмно-синее пальто с укреплённым внутренним карманом и дважды приносил его в починку, потому что носил внутри тяжёлые футляры и они рвали подкладку по одному и тому же шву. В управлении это имя знали давно и без всякого удовольствия: Сенн составлял частные соглашения для богатых клиентов, никогда не переступал черты, за которой начинается статья, и умел так расположить обстоятельства, что взятка выглядела услугой, а угроза — недоразумением, о котором обе стороны потом жалеют.

Ордер получили к вечеру.

В квартире посредника нашли пропавшие показания в железном ящике, пальто без пуговицы, остатки той же настойки и банковскую расписку на лечение Лины. Сенн не сопротивлялся. Он только попросил адвоката и повторял, что не трогал курьера.

Роберт не позволил открыть железный ящик, пока хозяин дома и судебный писарь не сверили номер ордера. Эмма стояла в прихожей рядом с двумя стражами и наблюдала, как полчаса уходит на подписи, печати и перечисление комнат.

— Вы знаете, что документ внутри, — сказала она тихо.

— Знаю, что там металлический предмет подходящего размера.

— После памяти.

— После царапины на столе, показаний торговки, ткани, пуговицы и книги заказов.

— А память?

— Подсказала, где искать перечисленное.

Когда ящик открыли, футляр лежал сверху. Под ним нашли ещё семь документов, не относящихся к делу. Роберт приказал запечатать их на месте и запросить отдельное расширение ордера.

— Если бы открыли сразу, — сказал он Эмме, — защита потребовала бы исключить всё найденное как результат незаконного обыска. Правильный ответ, добытый неправильным способом, иногда перестаёт быть ответом для суда.

Она подумала о Маяке. Там это правило было ещё опаснее.

На втором допросе, когда ему показали ткань, воск и показания торговки, он заговорил.

Матиас отказался. Сенн уже считал сделку проваленной, но заказчик прислал второго человека «для успокоения». Тот вошёл через соседнюю комнату. Сенн видел только тёмный медицинский футляр и перчатки. После его прикосновения Матиас перестал спорить, открыл пальто и позволил забрать документ. Позже второй человек принёс пустой футляр к дому курьера.

— Имя? — спросил Роберт.

— Назвался господином Варом. Ложное, конечно.

— Кто его нанял?

Сенн замолчал. Заказчик находился выше посредника и, вероятно, выше людей, которых Роберт мог вызвать без новой подписи суда.

— Почему вы поверили, что он медик? — спросила Эмма через перегородку комнаты наблюдения.

Роберт повторил вопрос.

— Запах, — ответил Сенн. — Чистый спирт, травы. И руки. Врачебные перчатки, тонкие. Он знал, куда касаться.

— Куда?

— За ухом. Сказал, что курьер проснётся без тревоги и не вспомнит сделку.

Роберт поднял взгляд на стекло, за которым стояли Эмма и Освальд.

Сенн тут же исправился:

— Не вспомнит комнату. Я решил, это от настойки. Обычный сон.

— Вы видели, как он дал настойку?

— Нет.

Теперь обычное объяснение требовало события, которого ни один свидетель не видел.

Но для Матиаса признания хватило.

Курьера освободили от обвинения в краже и продаже показаний. Палата уволила его в тот же день за сокрытие контакта, нарушение маршрута и попытку рассмотреть преступное предложение.

Эмма встретила его у выхода из суда. Лина ждала на улице — худенькая девушка в слишком лёгком пальто. Увидев брата, она бросилась к нему, а Эмма почувствовала слабое эхо чужой любви. На этот раз оно не заслонило её собственный взгляд.

— Я думал, если выяснится, что я отказался, всё вернут, — сказал Матиас.

— Вы отказались после того, как скрыли встречу, — ответила Эмма. — Это разные поступки.

Он кивнул, не соглашаясь и понимая одновременно.

— Лечение отменяет.

— Нет, — сказал Роберт за её спиной. — Гарантию перевели в городской фонд помощи свидетелям. Ваша сестра подала заявление утром.

Лина посмотрела на него.

— Мне сказали, фонд закрыт на этот месяц.

— Освободилось место.

Роберт ушёл прежде, чем они успели поблагодарить.

Эмма догнала его на ступенях.

— Вы это устроили?

— Я передал документы. Решение принимал фонд.

— Удобная формулировка.

— Точная.

— Почему не сказали им?

— Потому что фонд не подарок от меня. У Лины есть право на помощь как у зависимой родственницы свидетеля.

— Вы нашли освободившееся место.

— Да.

— И не хотите, чтобы она считала себя обязанной.

Роберт посмотрел на белые нити у площади.

— Обязанность слишком легко превращают в способ получить следующее согласие.

Фраза могла принадлежать Освальду. Но голос был его.

На площади перед судом собрались люди с белыми нитями. Они требовали уничтожить кровь Матиаса после закрытия дела и запретить Палате хранить биологические ключи дольше срока обжалования. Среди плакатов Эмма увидела Ингу Рит.

У бокового входа двое стражей держали юношу с разбитой губой. В его сумке нашли три украденные трубки судебной крови. Инга громко требовала адвоката и одновременно называла кражу преступлением.

— Умеренное крыло и радикалы, — пояснил Роберт. — Одни хотят закон. Другие считают любой ключ оружием и пытаются уничтожить сами.

— Палата действительно хранит кровь дольше нужного?

— Иногда.

— Значит, они правы.

— Они правы насчёт Палаты, — сказал Роберт. — И это никак не отменяет того, что у мальчика в сумке лежит чужая кровь. Обе вещи существуют одновременно, и вам придётся привыкнуть.

На следующий день суд принял ту версию, которая требовала от мира наименьших перемен: сильная доза аптечной настойки вызвала у курьера амнезию, повышенную внушаемость и ровное спокойствие, а неизвестный медик, которого никто не видел в лицо, был сообщником Сенна и скрылся. Решение получилось стройным, подкреплённым и не требующим от памяти ни единого нового свойства.

В решении не упоминалось лицо, которое расплывалось одинаково с трёх дорог. Не упоминался голос без высоты. Прикосновение за ухом превратилось в «предполагаемое введение вещества».

Каждая фраза по отдельности была допустимой.

Вместе они делали странность обычной.

Эмма сидела в рабочем зале и перечитывала два отчёта.

Ювелир: лицо не удерживается, голос глохнет, благодарность без причины.

Матиас: лицо не удерживается, голос глохнет, облегчение без причины.

Она достала свою тетрадь со снами. Перевернула несколько страниц и написала наверху: «Аномалии доступа». Под первой записью провела линию, под второй — ещё одну.

Роберт стоял у двери, готовый к обратной лодке.

— Официально дело закончено, — сказал он.

— А второе лицо?

— Ищем господина Вара как сообщника. Без настоящего имени и описания.

— Настойка не объясняет ювелира.

— Головные боли и лечение могут.

— Вы верите в это?

Роберт посмотрел на две записи.

— Я считаю, что два случая ещё не образуют закономерность.

Эмма закрыла тетрадь.

— Но их достаточно, чтобы не выбрасывать записи.

Он помолчал, затем забрал копию страницы и положил в свою папку.

— Копия останется у вас? — спросила Эмма.

— В отдельной папке, не в закрытом деле Матиаса.

— Как назовёте?

Роберт посмотрел на её заголовок.

— «Аномалии доступа» звучит так, будто вы уже решили, что повреждён именно доступ.

— А вы?

Он написал на обложке: «Несовпадающие провалы памяти».

— Пока так.

Две папки получили разные имена и одну первую страницу.

Глава 16

Через шесть дней после того, как Матиаса выпустили, «Эстенский вестник» напечатал заметку в двадцать строк.

В ней не было ни одной прямой лжи. Курьер государственной службы задержан по подозрению в продаже документа. Отпущен после того, как новая Хранительница Архивного маяка просмотрела его память. Далее шло сообщение, что госпоже Вейн девятнадцать лет, что до избрания она работала в швейной мастерской и что вопрос о её подготовке будет рассмотрен Советом Ордена в установленном порядке.

Освальд прочитал заметку вслух за завтраком, аккуратно сложил газету вчетверо и сказал:

— Начинается.

— Что начинается?

— Вы стали существовать.

К полудню на нижнюю пристань пришли три лодки. В первой сидел торговец с прошением, во второй — двое любопытных из Верхнего города, заплативших лодочнику вдвое за право посмотреть на башню вблизи. Из третьей вышла женщина в тёмном платье с белой нитью, повязанной вокруг запястья.

Стража остановила её у ворот. Она не спорила, села на камень и стала ждать.

Прождала четыре часа.

— Мы обязаны её принять? — спросила Эмма.

— Нет, — сказала Бригитта.

— А по обычаю?

— По обычаю Орден вообще не принимает Лигу.

— Тогда почему она сидит, а не уезжает?

— Потому что знает, что вы смотрите в окно, — ответил Освальд, не поднимая головы от журнала. — И потому что через два часа начнётся отлив, лодочник уйдёт, и ей придётся ночевать на камнях. Она рассчитывает, что вам станет неловко раньше.

Эмме стало неловко через сорок минут.

— Это манипуляция, — сказала Бригитта, когда Эмма попросила её впустить.

— Да, — согласилась Эмма. — И всё равно она сидит на холодном камне, а я нет.

Инга Рит вошла в приёмную комнату так, будто бывала здесь много раз. Ей было около тридцати; ветер растрепал светлые волосы, и она не пыталась их поправлять. Сапоги оставили на полу мокрые полукружия, и она посмотрела на них с удовлетворением.

— Пять минут, — сказала Бригитта.

— Мне хватит трёх.

Инга села, не дожидаясь приглашения, и повернулась к Эмме — только к ней, будто остальных в комнате не было.

— Вы читали, что про вас написали?

— Читала.

— Там сказано: «просмотрела память». Как берут книгу с полки. — Она положила руки на колени. — Меня зовут Инга Рит, я говорю за ту часть Лиги права на забвение, которая согласна разговаривать. Я пришла не спорить с вашим избранием. Я пришла задать один вопрос, пока Орден не научил вас правильному ответу.

— Спрашивайте.

— Могу ли я потребовать, чтобы Маяк навсегда закрыл мою память? Не для Палаты. Для всех. Чтобы ни один будущий Хранитель не вошёл после моей смерти.

Эмма открыла рот и обнаружила, что не знает.

Освальд не подсказал. Пришлось выдержать молчание, которое становилось всё длиннее и всё хуже.

— Я здесь пятую неделю, — сказала наконец Эмма. — Я не знаю правила.

— Тогда узнайте.

— Узнаю. Но сначала скажу, что знаю. — Она подождала, пока голос перестанет дрожать. — На прошлой неделе я держала в руках жизнь человека, который три года откладывал по монете на лекарство сестре. Я не собиралась этого видеть. Оно просто было там, рядом с тем, что я искала. И я до сих пор не знаю, что с этим делать, — оно теперь во мне, а он мне ничего такого не рассказывал.

Инга впервые посмотрела на неё иначе.

— Вот именно, — сказала она тихо. — Вот именно это.

— Удалить оригинал невозможно, — вмешался Освальд. — Мы можем отказать в доступе. Можем записать запрет владельца и передавать его преемникам. Но при прямой угрозе многим людям суд вправе просить пересмотра.

— То есть «навсегда» означает «пока не понадобится».

— Да.

— Он помнит нас без нашего согласия, — сказала Инга.

— Море тоже хранит кости без согласия утонувших.

— Море не показывает их государству.

Бригитта поставила чашку слишком твёрдо.

— Ваша Лига тридцать пять лет назад пыталась разрушить Маяк вместе со всеми, кто находился на острове. Погибли девять служителей и четверо ваших. Не читайте нам про согласие.

— Радикалы прежней Лиги. Мы осуждаем штурм.

— Но не цель.

Инга завязала ослабевшую белую нить.

— Я осуждаю право любого человека владеть чужим прошлым. Если кристалл нельзя уничтожить, не убив при этом людей, я не стану поджигать башню. Вопрос от этого не исчезает.

— А та ночь? — спросила Эмма.

Все трое посмотрели на неё.

— Что вы хотите знать? — сказала Инга.

— Я живу здесь месяц. Внизу, у западной стены, кладка новее остальной. Никто мне не объяснил почему, и я не спрашивала, потому что подумала — обвал.

Освальд закрыл журнал.

— Ночь расколотого света, — сказал он. — Тридцать пять лет назад. Они подошли по приливной дороге в грозу и заложили заряды у внешней короны. Не под кристалл — под корону: хотели сделать архив недоступным, а не убить его. Взрыв разрушил западную галерею. Под камнем остались двое, и мы не смогли их вытащить.

— Вы там были?

— Я был Хранителем уже тридцать лет. — Он помолчал. — Маяк позвал меня в ту ночь. Второй раз за всю жизнь.

Инга смотрела в пол.

— Мне было пять, — сказала она. — Мой отец нёс заряды. Он вернулся домой и восемь лет не мог спать при грозе, а потом всё-таки перестал возвращаться домой. Я знаю про ту ночь больше, чем хочу.

Комната замолчала.

— Корону починили? — спросила Эмма.

— Внешнюю — да, — ответил Освальд. — Кристалл треснул в одном месте и остался цел. Мы полагаем, что осколки ушли в море.

Он произнёс это ровно, и Эмма поймала себя на том, что не может решить, показалось ей или нет: перед словом «полагаем» он сделал паузу, какой не делал ни разу за весь месяц.

Бригитта поднялась.

— Время вышло.

Инга встала тоже. У самой двери она обернулась.

— Госпожа Вейн. Когда узнаете правило, напишите мне. Не Ордену — мне. Я не жду, что ответ мне понравится.

— А если он вам не понравится?

— Тогда я буду спорить с вами письменно, а не через людей, которые бросают камни.

— Она пожала плечами. — Это, к сожалению, лучшее, что я умею предложить. За тех, кто бросает камни, я не отвечаю. Если однажды кто-нибудь из них подойдёт к вам на улице — знайте, что я его не посылала, и знайте, что это не поможет.

Она ушла, и мокрые полукружия от её сапог на каменном полу продержались ещё минут двадцать, а потом высохли, и Эмма поймала себя на том, что смотрит на пустое место, где они были, вместо того чтобы вернуться к уставу.

На скамье остался короткий белый волосок нити. Эмма машинально потянулась убрать его и остановилась.

— Он что-нибудь покажет?

— Нет, — сказал Освальд. — Знак значим для Лиги, но эта конкретная нить ещё не прожила с ней достаточно событий.

— А если бы прожила?

— У вас всё равно нет причины смотреть.

Бригитта сняла нить двумя пальцами и бросила в огонь.

— Радикалы носят белые повязки, чтобы узнавать друг друга, — сказала она.

— И чтобы напоминать о праве на закрытую память, — возразил Освальд.

— Вы защищаете их символ?

— Я защищаю точное описание. Оно переживает даже неприятных людей.

— Кто из вас прав? — спросила Эмма.

— Не ваша работа выбирать правую сторону целиком, — сказал Освальд. — Ваша работа — принимать конкретные решения и отвечать за них.

Вечером Эмма нашла в архиве разрешений тонкую папку с надписью «Запреты владельцев». В ней лежало сорок два листа за шестьдесят лет. Она прочитала все.

Женщина просила не открывать её память мужу ни при каких обстоятельствах. Солдат — не показывать никому ничего из четырёх лет войны. Мальчик четырнадцати лет, умерший через месяц, писал крупным круглым почерком: «пусть никто не смотрит, как я болел».

Внизу каждого листа стояла подпись Хранителя и приписка: обязательно к исполнению преемниками.

Эмма отнесла папку Освальду.

— Их сорок два, — сказала она. — За шестьдесят лет. Значит, почти никто не просит.

— Почти никто не знает, что можно.

— И вы не говорите об этом вслух.

Освальд долго молчал.

— Нет, — сказал он наконец. — Не говорю.

Эмма положила папку на стол и не стала спрашивать почему. Она уже начинала понимать, что у него есть вопросы, на которые он честно отвечает «нет», и это гораздо хуже, чем если бы он оправдывался.

Ночью она написала Инге Рит короткое письмо: правило такое-то, оно мне не нравится, я не знаю, как его изменить, но записала ваш вопрос в собственную тетрадь.

Письмо ушло с утренней лодкой.

Ответа не было три месяца.

Глава 17

На третий день без преступлений Эмма обнаружила, что не знает, чем заняться.

Она проснулась до первого колокола, оделась и пришла в рабочий зал. Стол был пуст. Ни судебного футляра, ни добровольца, ни списка ориентиров. Кристалл горел над башней с прежней невозмутимостью, будто не считал отсутствие нуждающихся поводом менять расписание.

Эмма проверила чернильницы. Переставила карточки запахов. Переписала две страницы тетради аномалий более разборчиво и поняла, что только портит первые живые записи.

На кухне служительница чистила морковь.

— Помочь?

— Всё сделано.

— Я могу нарезать.

— Уже есть кому.

В прачечной ей позволили сложить простыни, но через десять минут выяснилось, что Эмма складывает не по островному размеру. В архиве разрешений Бригитта отобрала у неё стопку дел со словами, что ученица Хранителя не должна подменять писаря. Даже страж у ворот отказался от помощи с застёжкой плаща.

К полудню Эмма вернулась в комнату и села на кровать.

Дома всегда находилось что исправить. Матери требовались руки, Тиллю — слушатель, отцу — человек, который подаст инструмент, Ларсу — тот, с кем можно спорить. На острове у каждого была работа, и никто не нуждался в Эмме только потому, что она находилась рядом.

Свободой должно было ощущаться именно это.

Оно ощущалось ненужностью.

Она достала из шкафа зелёное платье. То самое, которое Марта велела взять для праздника, которого на острове могло не быть. Повесила на дверцу, посмотрела и убрала обратно. Надеть его без причины казалось расточительством. Оставить лежать — привычнее.

Эмма поймала себя на том, что ждёт следующую чужую беду, потому что только беда давала ей понятную работу.

Мысль была настолько неприятной, что она записала её в тетрадь.

Освальд нашёл её у окна.

— Садовник потерял коробку семян, — сказал он.

Эмма обернулась слишком быстро.

— Нужен просмотр?

— Он утверждает, что поставил её в надёжное место и теперь ненавидит себя прошлого.

Преступление серьёзное: весной нам грозит избыток репы и недостаток укропа.

— Вы придумали это дело, чтобы занять меня?

— Герман действительно потерял семена.

— Это не ответ.

— Вы быстро учитесь дурным привычкам.

Освальд опёрся на трость и посмотрел на пустую комнату.

— Маяк делает редкую помощь заметной. Из-за этого Хранителю легко решить, что день без просьб потрачен зря. Я предлагаю потренироваться на жизни, которая не обязана гореть, чтобы заслужить внимание.

Сад лежал за внутренней стеной, в единственном месте острова, куда не доставал ветер с открытой воды.

Эмма попала туда впервые и остановилась на пороге, потому что не ожидала зелени. Здесь росли обыкновенные вещи: шесть яблонь, гряды репы и лука, малина вдоль стены,

ревень, четыре улья. И вдоль всей южной дорожки — низкий, сизоватый, ничем не примечательный кустарник, которого Эмма не знала.

— Соляной вереск, — сказал ей человек, стоявший на коленях в междурядье. — Больше нигде не растёт. Только здесь и, говорят, ещё на одном островке южнее, но туда никто не плавал.

Он поднялся, отряхнул колени и оказался высоким, худым, лет тридцати пяти, с очень спокойным лицом.

— Эрик Соль, — представился он. — Служитель. Помогаю Герману, когда не занят в архиве.

— Соль?

— Бригитта — моя старшая сестра. Все всегда удивляются. Она была бы гораздо лучшей Хранительницей, чем я служителем, но кристалл её не звал, а обижаться на кристалл она считает ниже своего достоинства.

Он сказал это без всякой горечи и наклонился, чтобы растереть в пальцах серый листок.

— Понюхайте.

Эмма понюхала. Пахло солью, полынью и чем-то ещё — холодным, чистым, напоминающим воздух после грозы.

— Его кладут в подушки тем, кто плохо возвращается из зала, — сказал Эрик. — Толку, наверное, нет. Но пахнет так, что человек, проснувшись, точно понимает, что он здесь, а не там.

— Это правда работает?

— Мне помогало.

Он произнёс это буднично, и Эмма не сразу зацепилась. Потом всё-таки зацепилась.

— Вы входили в зал?

— Нет, что вы. Я туда не хожу. — Эрик улыбнулся и снова присел к грядке. — Я про болезнь. У меня в юности были приступы. Просыпаешься и минуту не понимаешь, где ты и какой год. Вереск помогал.

— А сейчас?

— Сейчас прошло. Меня вылечили.

Над ульями шла ленивая работа. Пчёлы здесь были мельче обычных и почти чёрные; Эрик сказал, что мёд от них получается тёмный, горьковатый и что Освальд его любит, а больше почти никто.

Садовник оказался крепким мужчиной пятидесяти лет по имени Герман. Он добровольно дал волос с корнем, хотя заметно смутился от самой мысли, что его жизнь станет доступна Хранителю.

— Вчера или позавчера, — сказал он. — Коробка деревянная, перевязана зелёной бечёвкой. Нёс из сарая к теплице.

— Что чувствовали? — спросила Эмма.

— Ничего особенного. Колено болело.

— Запах, звук, кто-то рядом?

— Земля тёплая. Ветер с юга, но не сильный, я ещё подумал — хороший день, надо успеть с яблонями. — Он потёр затылок. — И пел. «Три сестры на мосту», её все поют. Только не помню, была ли это я тогда или я вообще всегда её пою, когда руки заняты.

В поле его жизни нужное воспоминание не сияло.

Эмма не сразу поняла, насколько это меняет работу. У Олле её вело чувство, у Матиаса — страх за сестру; там нужно было не искать, а удерживаться, чтобы не унесло. Здесь удерживаться было не от чего. Простор Германа лежал перед ней ровным, тёплым, полутёмным пространством, в котором горело всего несколько настоящих огней — свадьба, смерть отца, ночь, когда старший сын не вернулся домой, — а всё остальное тянулось бесконечными рядами одинаковых тусклых точек: пятьдесят лет земли, погоды, поясницы, чужих яблонь, супа, дождя,

снова земли. Ни одна из них не звала. Ни одна не отталкивала. И среди них где-то лежала деревянная коробка, перевязанная зелёной бечёвкой.

Эмма несколько раз проходила мимо: яркая гордость от первого урожая звала сильнее, боль в колене вела к падению на зимней дорожке, зелёная бечёвка появлялась на десятках коробок.

Пришлось собирать малое. Тёплая земля под ногтями. Южный ветер. «Три сестры на мосту». Холодная металлическая ручка. Боль при подъёме на одну ступень.

Эмма вошла в обыкновенный светлый полдень. Солнце стояло невысоко, но грело; Герман шёл через двор с коробкой, шурился и правда напевал — Эмма услышала мотив и удивилась, до чего он немзыкальный. По дороге ему попала открытая дверь старой ледовой кладовой, где кто-то опрокинул кадку с известью; он поставил семена на верхнюю полку, чтобы освободить руки, выправил кадку, а потом его позвали к теплице. Ничего важного не произошло.

Коробку нашли там же.

— Большая часть человеческой жизни не сияет, — сказал Освальд, когда Герман ушёл. — Но это не делает её менее настоящей.

Эмма всё ещё чувствовала удовлетворение садовника. Тихое, телесное: тёплая земля в ладони, ровный ряд всходов, южный ветер в незастёгнутом ворота. После страха, вины и чужой любви это спокойствие казалось безопасным.

На другой день пришла повариха.

Она долго мялась в дверях, вытирая руки о фартук, и наконец сказала, что дело совершенно пустое и она сейчас же уйдёт, если это глупость. Дело было такое: мать её умерла двадцать два года назад и унесла с собой рецепт зимнего пирога, который в семье пекли на исходе года. Повариха пробовала повторить его семнадцать раз. Каждый раз выходило похоже и каждый раз не то.

— Я знаю, что там был анис, — сказала она. — И ещё что-то. Я стояла рядом и смотрела, мне было девять. Я всё видела своими глазами. И не помню.

— Это не чрезвычайное обстоятельство, — заметила Бригитта от двери.

— Я знаю. Я и не прошу по правилам. Я прошу по-соседски.

Освальд взял из её рук ложку — старую, стёршуюся с одного края, — повертел и передал Эмме.

— Работайте.

Ложка была предметным ключом, и она вела ровно туда, куда должна была вести.

Кухня оказалась низкой, тёмной, страшно натопленной. За окном стоял синий зимний вечер, стекло изнутри запотело, и по нему кто-то нарисовал пальцем кривую рожу. Пахло анисом, топлёным маслом и мокрой шерстью от развешанных над печью варежек. Мать поварихи — молодая, широкая в кости женщина с покрасневшими руками — стояла у стола и месила, а рядом на табурете, подтянув коленки к подбородку, сидела девятилетняя девочка и смотрела снизу вверх.

Мать выговаривала ей за что-то, необидно и без злости.

Потом отсыпала на ладонь щепоть тмина, растёрла его между пальцами прямо над тестом и, не поворачиваясь, сунула девочке щепотку в рот — попробовать.

Девочка сморщилась. Мать засмеялась.

И вот это было главное: не рецепт, а то, что женщина смеялась, глядя не на смешное, а на ребёнка, — так, будто ей за целый день впервые стало легко.

Эмма стояла в этой кухне дольше, чем требовалось, чтобы разобрать состав. Она видела, как девочка потянулась и стёрла с окна нарисованную рожу, чтобы посмотреть на снег. Слышала, как хлопнула дверь в сенях, и как мать сказала «ноги вытирай», и как кто-то невидимый в сенях ответил, что и так вытер, и по голосу было слышно, что не вытер.

Она вышла с полной грудью чужого счастья.

— Тмин, — сказала Эмма вслух. — Не анис. Точнее, анис тоже, но тмин она растирала в пальцах, и от этого он пахнет иначе.

Повариха села прямо там, где стояла.

Она не заплакала. Она долго молчала, а потом сказала, что растирала тмин пятнадцать раз, но всегда в ступке, потому что кто же трёт пальцами в тесто.

— Ещё она вас любила, — сказала Эмма и осеклась, потому что этого её не просили.

— Я знаю, — ответила повариха. — Просто уже давно никто не говорил вслух.

Вечером пирог был на всех столах, включая стражу.

Эмма съела свой кусок в трапезной, среди тридцати чужих людей, и весь вечер ловила себя на том, что хочет обратно — не за рецептом. В ту тёмную натопленную кухню, где кто-то смеялся, глядя на ребёнка, и где не нужно было решать ничего.

Ей захотелось вернуться.

Не за ответом. Просто снова постоять в саду человеком, который точно знал свою работу и не обязан решать, кем станет навсегда.

— Можно ещё раз? — спросила она.

Освальд посмотрел слишком внимательно.

— Зачем?

Эмма уже знала, что отвечает неправильно.

— Закрепить навигацию по слабому эпизоду.

— Ложь посредственная. Попробуйте ещё.

— Там спокойно.

Он сел напротив.

— В архивах были люди, которые входили в чужую любовь, потому что своей не случилось. В чужой триумф, потому что боялись проиграть. В чужой счастливый дом, потому что собственный пришлось бы строить. Некоторые возвращались так часто, что настоящая жизнь стала для них тусклым промежутком между просмотрами.

— Но я Хранительница. Мне всё равно придётся входить.

— Именно поэтому вы должны знать, когда входите не ради владельца и не ради задачи.

— Как вы поняли?

— Потому что однажды провёл три недели в памяти человека, который любил жену и четверых детей.

Эмма ждала продолжения.

— По делу?

— Первые два входа — по делу.

Он сказал это без улыбки.

— Что произошло потом?

— Я начал скучать по людям, которых никогда не встречал. Ждать вечеров за их столом. Раздражаться, когда настоящее расследование мешало вернуться. Хенрик запечатал ключ и отправил меня на месяц чинить крышу западного крыла.

— Помогло?

— Я ненавижу кровельные работы до сих пор. Значит, вернулся достаточно полно.

Эмма взглянула на каменную чашу. Чужая счастливая жизнь могла стать не менее опасной, чем чужая смерть.

Желание вернуться не исчезло. Эмма записала его в тетрадь как остаток: «Мирное удовольствие. Опасность считать чужую жизнь отдыхом от своей».

На следующий день пришла первая посылка из дома.

Отец написал, что две спрятанные монеты по-прежнему принадлежат ей, даже если Орден выдаёт содержание. Тиль нарисовал зелёное стекло и приписал: «Оно пока у меня,

потому что я ещё решаю цену». Ларс написал: «Ты рассказываешь, кому помогла. Ни разу — что сделало тебя счастливой».

Мать вложила отрез морской синей ткани — без объяснения, только с аккуратно подшитым краем.

Эмма разложила её на кровати. Цвет был слишком ярким для ученического плаща. Именно поэтому вечером она распоролла серую подкладку.

Работа заняла три ночи. Эмма шила после уроков, медленно, только для себя. Никто не ждал плащ к сроку. Никто не пострадал бы, если бы она бросила. От этого каждый стежок ощущался странно важным.

На четвёртую ночь она надела зелёное платье.

Никакого праздника не было. Эмма спустилась в кухню за кипятком, столкнулась с сонной служительницей и помогла ей собрать рассыпавшиеся сушёные яблоки. Потом одна прошла по галерее до северного окна.

Маяк горел над ней. Даже без ключа Эмма чувствовала архив — миллионы прожитых мгновений, каждое ярче её бессмысленной прогулки.

Она специально стояла у окна, пока не допила чай.

Этот вечер не помог ни одному человеку. Не стал уроком, уликой или испытанием. Он всё равно принадлежал ей.

Бригитта заметила обновку в столовой.

— Ученическая одежда традиционно скромна.

— Снаружи она серая, — сказала Эмма.

— Подкладка видна в движении.

Освальд отложил ложку.

— Какое несчастье. Люди поймут, что ученица движется.

— Символ служения имеет значение.

— Маяк никогда не требовал серого. Серый придумали люди, желавшие выглядеть несчастными достаточно убедительно.

Бригитта посмотрела на Эмму.

— Совет не запретит ткань. Но помните: сочувствие и желание нравиться способны стать слабостью Хранителя.

— А желание выглядеть правильно? — спросила Эмма.

Распорядительница ничего не ответила.

Недели наполнились обычными уроками. Эмма училась находить не только смерть и любовь, но забытый разговор о цене муки, запах первого снега, место, куда человек положил ключ. Кошмары приходили реже. Чужие эмоции всё ещё задерживались, но теперь она записывала их и ждала, прежде чем принимать решения.

Освальд заставлял её составлять два отчёта. Первый — сразу после выхода, когда остаток был силён. Второй — следующим утром. Они сравнивали прилагательные, порядок событий и места, где чувство незаметно превращалось в объяснение.

После памяти разгневанной торговки Эмма написала: «Муж намеренно унизил её перед покупателями». Утром исправила: «Муж повысил голос; владелица восприняла это как намеренное унижение».

После памяти испуганного ребёнка фраза «огромная чёрная собака бросилась к нему» стала: «Ребёнок увидел приближающуюся собаку; действительный размер и намерение животного не установлены».

— Скоро вы разучитесь рассказывать интересные истории, — сказал Освальд.

— Для чего тогда всё это?

— Чтобы интересную историю не приняли за точную только потому, что вы хорошо её рассказали.

В первых числах октября Бригитта принесла в зал стопку прошений, которые Орден по уставу обязан был рассмотреть и почти всегда отклонял.

— Учитесь отказывать, — сказала она. — Это половина службы.

Эмма читала вслух, Бригитта диктовала основание отказа. Женщина просила показать ей последний день матери — отказ: горе не является чрезвычайным обстоятельством. Купец требовал проверить память компаньона — отказ: подозрение не является основанием. Городской писарь спрашивал, может ли Хранитель установить, кто первым произнёс фразу в трактире, — Бригитта даже не стала диктовать.

Предпоследнее прошение Эмма перечитала дважды.

— Наследственное дело. Эстен, Медный переулочек. Госпожа Эльза Тамм при жизни составила завещание, в котором имущество делится на три равные доли. Наследников двое. Душеприказчик просит разъяснения.

— Основание для отказа?

— Ошибка нотариуса не является чрезвычайным обстоятельством.

— Верно. — Бригитта поставила отметку, не поднимая головы. — Пишут раз в год. Обычно обнаруживается умерший младенец, о котором родители не рассказывали живым детям, или доля, оставленная приюту.

Эмма отложила лист в стопку отказов.

— А если она не ошиблась? — спросила она.

— Тогда у неё было трое детей, и об этом знает нотариус, а не Орден.

Ответ был правильный, и Эмма его записала.

Иногда она спрашивала Освальда, почему Маяк выбрал именно её.

— Единого признака нет, — отвечал он. — Храбрые, трусливые, умные, самодовольные. Один прежний Хранитель не умел читать до двадцати семи лет. Другая знала шесть языков и ненавидела людей на всех.

— Значит, Маяк может ошибаться?

— Однажды вам самой придётся решить, способен ли он. Не позволяйте ему ответить за вас молчанием.

Через несколько дней на остров приехал врач.

Эмма узнала об этом от поварихи, которая с утра пекла что-то не по расписанию и на вопрос ответила коротко: «Доктор приезжает». Слово «доктор» она произнесла так, как в Эстене произносили «отлив» — без восторга и без пояснений, потому что пояснять очевидное некому.

Освальд встретил гостя внизу сам, хотя лестница давалась ему тяжелее с каждой неделей.

Адриан Восс поднялся, неся собственный ящик с лекарствами, и остановился на площадке, чтобы отдышаться вместе со стариком, — Эмма заметила это позже и долго не могла решить, было ли это тактом или расчётом. Он был одет хорошо и просто, седина лежала аккуратными полосами в тёмных волосах, а усталость на лице не пряталась.

— Раз в полгода, — сказал ей Освальд, когда Восс отошёл вымыть руки. — Он осматривает меня с тех пор, как Бригитта пригрозила внести моё упрямство в протокол.

— Он ваш друг?

— Он человек, который однажды доказал суду, что честный свидетель может ошибиться. После этого я перестал считать врачей помехой.

Осмотр занял час. Восс проговаривал каждое действие вслух — свет, пульс, колено, слух, — спрашивал разрешения перед каждым прикосновением и ни разу не обратился к Освальду как к старику. По дороге в трапезную он остановился возле поварихи, спросил о её больном запястье и показал другое движение ножом, которое меньше нагружало сустав. Молодого слушателя узнал по имени матери, лечившейся в институте.

Ни один жест не выглядел рассчитанным на Эмму. Он просто замечал людей быстрее, чем большинство успевало представиться.

За обедом их было четверо: Освальд во главе стола, Восс напротив, Эмма сбоку и Бригитта, которая пришла проследить, чтобы врача накормили как положено, и осталась.

Сначала говорили старики. Восс расспрашивал про колено, про зимние запасы масла и про то, правда ли Совет опять отклонил ремонт западной галереи; Освальд отвечал коротко и один раз довольно едко, и Эмма впервые увидела, что наставник умеет разговаривать не как учитель.

— Он был на десять лет старше меня, — сказал Восс, когда речь зашла о каком-то Дорене. — И ни разу за пятнадцать лет не дал мне договорить фразу до конца.

— Он и мне не давал.

— Вам-то за что?

— За то, что я, по его мнению, слишком долго думаю.

— Вы действительно слишком долго думаете.

— Это меня и спасало.

Потом Освальд повернулся к Эмме.

— Расскажите доктору про две записи.

Она посмотрела на него, не понимая, зачем.

— Рассказывайте, — сказал он. — Я хочу услышать, что он скажет. Мне самому это правило досталось от Хенрика, и я тридцать лет не мог объяснить, почему оно работает.

Эмма рассказала: первый отчёт сразу после выхода, второй наутро, потом сравнить.

— И что меняется за ночь? — спросил Восс.

— Прилагательные. И причины. Вечером я знаю, почему человек так поступил. Утром выясняется, что я знаю только, что он поступил.

Восс отложил ложку и посмотрел на неё внимательнее, чем требовал разговор.

— Освальд, — сказал он, — вы понимаете, что она сейчас в двух фразах изложила то, чего я не могу вбить в голову врачам с двадцатилетней практикой?

— Понимаю. Поэтому и попросил.

— Мы называем это клиническим суждением и очень обижаемся, когда нас просят отделить наблюдение от вывода. — Восс снова повернулся к Эмме. — Записывайте дальше. И храните оба варианта, даже когда первый покажется вам стыдным. Особенно когда покажется стыдным.

Разговор ушёл в сторону; заговорили о лечебницах, о том, что после войны стало больше людей с провалами, и о том, можно ли вообще отличить забывание от повреждения.

— У нас есть две такие записи, — сказал Освальд.

Эмма подняла голову.

Наставник не смотрел на неё. Он говорил спокойно и как бы между прочим, и Эмма поняла, что решение рассказать он принял не сейчас, а раньше, до обеда.

— Два случая за полтора месяца. Разные люди, разные кварталы, ничего общего. У обоих в памяти есть место, куда я не могу пройти: лицо не удерживается, голос превращается в гул. И оба перед этим кому-то были благодарны, не помня за что.

Восс некоторое время молчал.

— Размытое лицо, — переспросил он.

— Черты есть. Потом расплываются.

— И благодарность без причины.

— Откуда вы знаете про благодарность? — спросила Эмма.

— Я не знаю, я предполагаю. Так обычно и бывает: человек не выносит пустоты в собственной голове и заполняет её самым мирным чувством из доступных. — Он потёр переносицу. — Освальд, у меня таких историй за двадцать лет наберётся десятка полтора. Я никогда

не сводил их вместе, потому что каждая по отдельности прекрасно объясняется. Настойки, лихорадка, старая рана, дурной врач.

— Это самое неприятное свойство настоящей закономерности, — сказал Освальд.

— Именно. Она очень долго притворяется совпадением.

Бригитта, до сих пор молчавшая, поставила чашку.

— Вы сейчас оба говорите так, будто уже решили, что закономерность есть.

— Я говорю, что хотел бы посмотреть записи, — ответил Восс. — Если правила Ордена позволяют.

— Не позволяют. Это материалы следствия.

— Тогда я подожду, пока следствие закончится, и попрошу ещё раз. — Он улыбнулся ей без всякой обиды. — Я терпеливый. У меня работа такая.

Провожая его к лодке, Эмма поймала себя на том, что ей легче, чем было утром, — и записала в тетради, честно, отдельной строкой: «Разговор с врачом. Приятное чувство. Источник не установлен».

Утром она перечитала запись и не нашла, что исправить.

Четырнадцатого октября внешняя лодка доставила официальный запрос из управления. Роберт Ренн сообщал об исчезновении портового картографа и просил поручить предметный просмотр «ученице Эмме Вейн под надзором действующего Хранителя».

Эмма перечитала сухую строку дважды.

— Там нет слова «неопытная», — заметил Освальд.

— Я не искала.

— Разумеется.

Она сложила запрос и лишь потом позволила себе улыбнуться.

На рабочий стол положили латунный циркуль.

Глава 18

Нильс Ортен пропал после того, как трижды заблудился в собственной гавани.

Роберт начал с первого случая. Картограф вышел из управления причалов, прошёл два квартала и попросил стражника показать дорогу к дому, где жил одиннадцать лет. Во второй раз он не узнал лестницу к башне наблюдения, которую сам проектировал. В третий обвинил печатника в подмене городской карты: на ней отсутствовал водосброс под старым причалом.

Такого водосброса не существовало.

По крайней мере, его не было ни на одном официальном плане за последние шестьдесят лет.

— Феноменальная пространственная память, — сказал Роберт, раскладывая материалы перед Эммой. — Нильс мог пройти улицу один раз и через год восстановить число окон. Поэтому первые два случая приняли за переутомление. После третьего сестра вызвала лекаря. Наутро он исчез.

— Кровь?

— Нет. В комнате ничего пригодного не осталось, а из расчёски нельзя достоверно отделить его волосы от сестриных. Суд не разрешил полный поиск: Нильс работал с оборонительными схемами.

Сестра картографа ждала в соседней комнате. Она принесла циркуль сама и не позволила писарю забрать его из рук, пока не увидела судебную печать.

— Он начал проверять двери, — рассказала она Эмме. — Перед сном рисовал расположение мебели. Утром сравнивал. Если стул стоял на ладонь левее, обвинял себя, что ночью передвинул и забыл.

— Вы передвигали?

Женщина опустила глаза.

— Один раз. Хотела доказать, что с ним всё в порядке. Что он замечает. Он заметил и решил, что сделал это сам.

— Почему?

— Потому что я поклялась, что не трогала.

Стыд сделал последние слова почти неслышными.

— Он больше верил вам, чем себе, — сказала Эмма.

— А теперь пропал из-за этого?

— Мы пока не знаем, почему пропал.

Эмма не стала утешать её удобной причинностью.

Роберт указал на циркуль. Инструмент был старым, с потемневшими шарнирами и почти стёртыми буквами на одной ножке.

— Его отец передал предмет в детстве. Сестра подтверждает, что Нильс пользовался им до исчезновения. Разрешение узкое: найти последние эпизоды, связанные с ошибками карты и непосредственной опасностью.

— Сестра может отозвать разрешение?

— Циркуль принадлежит ей как ближайшей родственнице, но память — Нильсу, — ответил Роберт. — Она дала предмет и согласие на использование. Границы определил суд из-за непосредственной угрозы жизни.

— Значит, её согласия недостаточно.

— И суда недостаточно для всего, что находится за границами угрозы.

Эмма перечитала разрешение. За месяц формулировки перестали выглядеть формальностью. Каждая строка была стеной вокруг человека, которого не было в комнате, чтобы сказать «довольно».

— Вы просили поручить просмотр мне.

— Вы уже работали с предметом.

— Освальд тоже.

— Он видел материалы. Согласился, что задача соответствует вашему обучению.

Освальд сидел у дальнего края стола и делал вид, что не участвует.

Эмма провела пальцем по синей подкладке нового плаща. Роберт заметил цвет, когда она вошла, но ничего не сказал. Это почему-то разочаровало её сильнее, чем следовало.

— Значит, дело не в доверии, — сказала она.

— Доверие здесь вообще ни при чём.

— Конечно.

— Вы хотели, чтобы я ответил иначе?

Освальд поднял глаза к потолку.

— Если закончите выяснять значение одного глагола, человек всё ещё пропал.

Эмма взяла циркуль.

Предмет открылся несколькими дорогами. Самая ранняя привела к мужчине с чернильными пальцами — отцу Нильса. Он учил десятилетнего сына строить карту комнаты.

— Не начинай со стены, — говорил отец. — Начни с места, где стоишь. Карта не говорит, каким должен быть мир. Она признаётся, каким ты сумел его увидеть.

Мальчик измерял шагами пол, ошибался, сердился и начинал снова. Циркуль был слишком большим для его руки.

Эмма отступила от тёплого эпизода. Последние недели. Ошибка карты. Опасность.

Поле предмета было уже крови и потому обманчиво понятнее. Между дорогами оставались пустые годы, когда Нильс не держал циркуль рядом с важными событиями. Эмма могла увидеть, как он обнаружил ошибку на плане, но не обязательно — кто привёл его к столу или что произошло после того, как инструмент остался лежать.

Она вслух напомнила себе предел:

— Я вижу только эпизоды циркуля.

— И только то, что воспринимал связанный с ним человек, — ответил Освальд.

Она нашла Нильса взрослым у длинного рабочего стола. Перед ним лежали два плана: официальный и собственный черновик. На черновике под старым причалом был отмечен узкий водосброс, выходящий к насосной галерее. На чистовом месте оставалась сплошная кладка.

Нильс узнавал свой почерк, дату и пометки глубины. Не помнил измерений.

Он приложил циркуль к линии и застонал от боли, будто инструмент уличал его во лжи.

В комнату вошёл человек.

Эмма увидела тёмное пальто и руки. Лицо начало расплываться прежде, чем Нильс поднял взгляд.

— Прохода нет, — сказал человек.

Голос был гулким, но отдельные слова удерживались лучше, чем у Матиаса.

— Я измерял, — ответил Нильс. — Здесь мои цифры.

— Вы перенесли их со старой схемы. В последнее время вы путаете планы.

— Не путаю.

— Тогда почему не помните обследования?

Вопрос попал точно в трещину. Нильс посмотрел на собственные записи и впервые испугался не карты, а себя.

Человек наклонился ближе. Источник следующей фразы исчез, осталось только убеждение:

Водосброса нет.

Эмма почувствовала, как уверенность легла поверх чертежа. Не полностью. Цифры продолжали сопротивляться, потому что были написаны рукой Нильса и находились перед глазами.

Он трижды провёл ногтем по собственной отметке глубины. Внутри него одновременно существовали два знания. Рука помнила холод каменной стены и расстояние между насечками. Мысль утверждала, что никакой стены он не касался.

Нильс выбрал объяснение, которое сохраняло его разум: должно быть, он скопировал чужие цифры и забыл.

Он убрал канал с чистового плана.

Следующая сцена возникла под старым причалом. Нильс держал циркуль в кармане и ждал у воды. Из темноты появился лирр.

Эмма раньше видела представителей этого народа издали: гладкие головы над водой нижней гавани, длинные пальцы на бортах, плащи из переплетённых водорослей. Этот носил ожерелье из раковин и красного стекла. Он говорил не словами, а ударами когтя по камню и короткими горловыми звуками.

Нильс отвечал тем же ритмом, неуклюже.

Лирр указал под воду. Канал существовал. Он обещал провести картографа при следующем отливе.

В последнем эпизоде Нильс положил циркуль на карту в своей комнате. Рядом оставил записку:

«Если я снова решу, что прохода нет, не верьте мне».

После этого предмет больше не участвовал в его жизни.

Эмма вышла без сильного остатка. Только на секунду официальный план показался ей более настоящим, чем собственные глаза.

— Водосброс есть, — сказала она. — Или Нильс и лирр оба считали, что есть. Размытый человек требовал убрать его с карты. После разговора Нильс был уверен, что сам перенёс цифры со старой схемы.

— Требовал? — переспросил Роберт.

Эмма остановилась.

— Сказал, что прохода нет. Остальное — моё описание.

— Он мог искренне исправлять ошибку.

— Мог.

Роберт поставил рядом с фразой знак вопроса. Раньше это показалось бы Эмме придиркой. Теперь она сама зачеркнула слово «требовал» в черновике.

Роберт записывал быстро.

— Настойка?

— В эпизоде её не было. Я не почувствовала горечи. Но предмет показывает только сцены с циркулем; воздействие могло начаться раньше.

— Лицо совпадает с человеком Матиаса?

— Я не могу сравнить то, что не удерживается. Рисунок повреждения похож. Это не доказательство одного человека.

Освальд кивнул.

— Хорошо.

Роберт поднял взгляд.

— «Хорошо» относится к чему?

— К её отчёту. Ваш картограф по-прежнему пропал.

Обыск комнаты Нильса подтвердил записку — её нашли под картой, прижатой к столу двумя книгами и чернильницей, — но циркуль к тому времени уже изъяли отдельно, положили в общий перечень имущества под номером и ни разу не связали с последним выходом хозяина,

потому что связывать циркуль с исчезновением человека до сих пор не приходило в голову никому в управлении. На полях стояли ритмические пометки — способ вызвать лирра.

Нашли и семь вариантов одной схемы. На первых трёх водосброс присутствовал. На четвёртой странице Нильс обвёл его красным. На пятой поставил вопрос. На шестой зачеркнул. На седьмой восстановил из памяти и рядом написал: «Рука знает».

— Это внешний след сопротивления, — сказала Эмма.

— Или развития ошибки, — ответил Роберт.

Он забрал все семь листов.

— Но один вариант не объясняет, почему он заранее просил не верить будущему себе.

— Стража прочешет нижнюю гавань, — сказал Роберт.

Эмма вспомнила, как лирр оглядывался на форму портовых людей.

— Если он скрывается от власти, прочёсывание заставит его уйти глубже.

— У нас пропавший человек.

— И свидетель, который не обязан доверять вашему знаку.

— Предлагаете попросить вежливо весь народ?

— Предлагаю сначала повторить ритм Нильса.

Роберт посмотрел на схему нижней гавани, затем убрал со стола металлический знак и спрятал во внутренний карман.

— Один час, — сказал он. — Без силового поиска. Если не выйдет, вызываю стражу.

В голосе не было согласия с её методом. Но знак исчез.

Эмма застегнула серый плащ. При движении блеснула синяя подкладка.

На этот раз Роберт заметил.

— Это не уставной цвет.

— Так и я пока не уставная.

Он задержал взгляд на ткани на мгновение дольше, чем требовала проверка одежды для гавани.

— Практично, — сказал он.

Назвать практичным ярко-синий шёлк внутри серого плаща мог только человек, которому нечего было сказать, но который зачем-то решил сказать хоть что-нибудь. Эмма отвернулась к двери, чтобы он не увидел её лица.

До нижней гавани шли пешком, через рыбный ряд.

Эмма и не думала, что её узнают. В газете не было портрета, а на улице она выглядела как всякая девушка в сером плаще. Но кто-то в порту, видимо, знал лодочника, а лодочник знал, кого возит, — и на середине ряда торговка рыбой перестала кричать цену и просто посмотрела.

Дальше стало быстро.

Их обогнали двое. Эмма отметила белую нить на запястье у того, кто шёл слева, и успела подумать, что нить у него намотана в несколько оборотов, — Инга говорила, так носят радикалы, — и что сама эта мысль пришла слишком поздно.

Тот, что справа, повернулся и выплеснул ей в лицо содержимое жестяной кружки.

Пахло уксусом и чем-то ещё, острым.

Роберт ударил его в тот же момент — не рукой, а плечом, сбоку, всем весом, — и кружка отлетела под прилавок. Жидкость попала Эмме в подбородок и на шею; несколько капель — на щеку под глазом.

Второй достал нож.

Дальше Эмма плохо помнила порядок. Помнила, что Роберт закрыл её собой не героически, а деловито — шагнул так, чтобы между ней и ножом оказалось его правое плечо, — и что он не стал кричать «стража», а сказал очень тихо и очень спокойно: «Ты не хочешь этого делать», и парень с ножом почему-то ему поверил. Помнила чужие руки, торговку, которая была нападавшего мокрой камбалой, и как это было бы смешно в любой другой день.

Потом ей поливали лицо водой из ведра, и вода была ледяная и пахла рыбой.

— Щиплет? — спросил Роберт.

— Немного.

— Смотрите на меня. Оба глаза открыть можете?

— Могу.

— Хорошо.

Он держал её лицо обеими руками — за подбородок и за затылок, поворачивая к свету, — и делал это так же, как проверял бы след на дверной ручке: внимательно, без всякой нежности и совершенно не замечая, что делает.

Эмма заметила за двоих.

В кружке оказался разбавленный уксус с толчёным перцем. Больно, страшно, безвредно. Тот, что бросал, был мальчишкой лет девятнадцати и на допросе плакал и объяснял, что не хотел ослепить, а хотел, чтобы «она поняла, каково это, когда лезут внутрь без спроса».

— Она поняла, — сказал ему Роберт.

Инга Рит приехала в управление через два часа, сама, без вызова. Она посмотрела на мальчишку через решётку и сказала, что защитника ему найдёт и что он идиот. Потом повернулась к Эмме.

— Я вас предупреждала.

— Предупреждали.

— Это не значит, что я не виновата. — Инга помолчала. — Я говорю им, что человек имеет право закрыть свою память. Они слышат, что человек имеет право не пускать. Дальше каждый достраивает сам, и достраивают они плохо.

Она ушла раньше, чем Эмма нашла ответ.

Вечером, уже на лодке, Роберт всё-таки заговорил.

— У вас на шее ожог.

— Знаю.

— Мазь у лекаря на острове есть?

— Наверное.

— «Наверное» меня не устраивает.

Эмма посмотрела на него. Он сидел напротив, сцепив руки, и выглядел злым — не на неё, но злым отчётливо, и она вдруг поняла, на что именно.

— Вы успели, — сказала она.

— Я стоял в двух шагах.

— И успели.

— В следующий раз могу не успеть. — Он отвернулся к воде. — Я не могу приставить к вам стражу. Орден не позволит, а вы будете возражать первой.

— Буду.

— Знаю. — Он помолчал. — Тогда ходите по левую руку от меня.

— Почему по левую?

— Потому что я правша.

Эмма отвернулась к морю и очень долго смотрела на приближающийся Тьерн.

Ничего не произошло. Никто ничего не сказал.

И всё-таки весь остаток пути она сидела с той стороны лодки, с какой он сел.

Глава 19

В нижней гавани знак следствия обладал собственным течением.

Стоило Роберту показать его сторожу у причала, как люди начали отходить от них, разговоры стихли, а три тёмные головы у дальних свай исчезли под водой. Через минуту на поверхности не осталось ни одного лирра.

— Вы убрали знак, — сказала Эмма.

— После того как сторож записал, что мы здесь законно.

— Они этого не знают.

— Если сниму пальто и повешу оружие на стену, пропавший картограф не найдётся быстрее.

— Зато свидетель может появиться.

Роберт посмотрел на воду. Нижняя гавань строилась для двух народов и не подходила полностью ни одному. Человеческие мостки стояли слишком высоко для лирров, подводные проходы делали свай опасными для лодок. Запах рыбы смешивался с водорослями, дымом и густой смолой.

Он снял металлический знак с цепочки и убрал его глубоко во внутренний карман, туда, где обычно носил запасные перья, — а стражей оставил у входа на рынок, велев не подходить ближе, что они восприняли с плохо скрытым облегчением, потому что нижнюю гавань в управлении не любил никто.

— Сорок пять минут, — сказал он.

Эмма достала лист с ритмом Нильса. Три коротких удара, пауза, два длинных, один короткий. Она постучала костяшками по мокрой свае.

Ответа не было.

Повторила. На третий раз из-под настила донёлся щелчок. Не тот же ритм — вопрос.

Эмма ответила последовательностью, которую видела в воспоминании картографа. Вода возле дальней лестницы поднялась, и появился лирр с ожерельем из раковин и красного стекла.

На суше он казался куда более чужим, чем в воде, где движение сглаживало всё: кожа цвета мокрого сланца блестела и на глазах подсыхала, делаясь матовой, веки закрывались сбоку и не одновременно, длинные пальцы заканчивались тёмными когтями, а на шее ритмично, независимо от дыхания, двигались жаберные щели.

Роберт медленно показал пустые ладони.

Лирр посмотрел на его пальто, где раньше висел знак, и издал низкий звук.

— Саар? — спросила Эмма.

Имя было в памяти Нильса не словом, а двумя ударами и скольжением ладони. Лирр коснулся красного стекла. Да.

Общий язык давался ему тяжело.

— Нильс-сухой. Где?

— Мы ищем, — сказала Эмма. — Видели его память через циркуль. Он шёл с вами к каналу.

Саар резко ударил ладонью по воде. Брызги долетели до сапог Эммы.

— Не память Нильс. Камень взял.

— Нильс оставил циркуль и записку, чтобы его нашли.

— Он дал?

Эмма поняла вопрос.

— Не прямое согласие на просмотр. Он оставил предмет рядом с просьбой не верить его будущей памяти. Суд ограничил доступ поиском угрозы его жизни.

Саар посмотрел на Роберта.

— Сухой-суд говорит за пропавший?

— На время поиска, — сказал тот.

— Сухой-суд всегда говорит громко.

Роберт не стал защищать учреждение.

— Поэтому она рассказывает вам границу.

Саар отступил в воду.

— Не показывать дом-вода. Не стража.

— Нам не нужны ваши поселения, — сказал Роберт. — Только то, что произошло с Нильсом после входа в водосброс.

— Слово-сухой меняет. Потом сеть.

Эмма поняла: человеческое обещание сегодня могло стать ловушкой завтра.

— Маяк умеет ограничить просмотр, — сказала она. — Я буду искать Нильса и нападение. Если увижу путь к вашему дому, выйду.

Саар посмотрел на башню Тьерна, едва видимую за городским дымом.

— Камень помнит всё.

— Да.

— Даже если Саар не хочет.

Вопрос Инги вернулся в другом голосе.

— Да, — повторила Эмма. — Поэтому я могу обещать только за себя.

— Старый камень выбрал молодой сухой, — сказал Саар. — Обещание короткое.

— Да.

Недоверие было заслуженным. Эмма не стала просить поверить ей по лицу, титулу или связи с Маяком.

— Вы можете присутствовать у ключа. Если я перейду границу, разорвите узел.

Освальд потом мог назвать это опасным: резкое закрытие дороги ударило бы по ней. Но другого залога, который имел смысл для Саара, Эмма не видела.

Лирр долго молчал. Затем снял с запястья узел из тонких водорослевых нитей. В середине была вплетена прозрачная чешуйка.

Он оторвал другую чешуйку у предплечья. На коже выступила тёмная капля.

— Ключ. Узел — согласие Саара. Нильс, канал, удар. Не дом-вода.

Роберт записал условия и попросил Саара оставить отпечаток когтя. Лирр рассердился, пока Эмма не объяснила, что знак защищает не только людей от него, но и его от людей.

Саар потребовал, чтобы рядом с человеческими словами нарисовали узор его народа: разомкнутый круг, три волны и коготь, обращённый наружу. Бригитта позже могла признать его или отвергнуть. Роберт всё равно срисовал знак точно.

— Что он означает? — спросил он.

— Дорога не дом.

— Хорошая формулировка, — сказала Эмма.

— Формулировка не ваша, — заметил Роберт.

Саар щёлкнул горлом. Возможно, смеялся.

В зал Саара, разумеется, не пустили бы — он не поместился бы в дверь и не дожил бы до конца лестницы. Освальд распорядился иначе: чашу вынуть из гнезда и снести на нижнюю площадку, к приливной заводи под северной стеной.

Бригитта возражала полчаса. Освальд выслушал всё, а потом спросил, какое из двух правил она предлагает нарушить: то, по которому камень не покидает круг, или то, по которому Хранитель не входит в память без согласия владельца.

Плошку несли четверо служителей, и Эрик Солль шёл впереди с фонарём, отсчитывая ступени вслух.

Саар отказался плыть в человеческой лодке и сопровождал их под водой. Иногда рядом с бортом возникало красное стекло.

На нижней площадке Бригитта изучила узел согласия, словно тот мог лгать формой плетения. Освальд велел не распускать: для лирров узор имел ту же силу, что подпись.

— Разрыв закроет просмотр, — сказала Эмма.

Бригитта резко подняла голову.

— Вы обещали это?

— Да.

— Резкий выход после нечеловеческого восприятия может оставить вас внутри остатка.

— А просмотр пути к их дому может привести туда стражу.

— Нужно было согласовать условие.

— Саар не дал бы ключ без условия.

Бригитта посмотрела на Освальда.

— Она нарушила порядок.

— Порядка для добровольного ключа лирра у нас нет, — сказал тот. — До сегодняшнего вечера вы считали, что достаточно человеческой подписи.

— Значит, следовало отложить.

Из заводи донёлся короткий удар когтя. Саар уже держал конец узла.

— Следовало спросить его, готов ли он ждать, — сказала Эмма.

Бригитта сжала губы и велела писарю внести новый знак согласия в реестр.

— Маяк хранит их память иначе? — спросила Эмма.

— Маяк ничего не переводит ради вашего удобства, — ответил Освальд. — Не пытайтесь увидеть человеческую комнату, если носитель ощущал воду.

Круга здесь не было — Освальд провёл его мелом по мокрому камню, и Эмма подумала, что за шестьсот лет это, наверное, самая честная версия обряда: черта имеет ровно ту силу, которую ей придают стоящие вокруг.

Эмма произнесла вслух чей ключ, что ищет и чего искать не будет. Саар лежал в заводи у самой черты и держал конец узла в когтях — руки на камне он дать не мог, и узел заменял её. Роберт сел за меловой линией. Чешуйку положили рядом с узлом.

Вход не был похож на падение в чужую жизнь.

Он был исчезновением воздуха.

Эмма не увидела темноту — она почувствовала воду всем телом. Давление складывало пространство точнее зрения. Слева камень отдавал холодом, справа двигалось тёплое течение. Запахи не находились в носу: железо, соль, большая рыба, человеческий пот растворялись вокруг и указывали направления.

Сердца горели движущимися точками.

Быстрое маленькое — крыса в стене. Три медленных под настилом — лирры. Человеческое сердце билось громче, беспорядочнее и словно отдельно от воды.

Эмма попыталась назвать стены, лестницу, лица. Пространство задрожало.

— Не переводите, — донёлся Освальд. — Ищите Нильса так, как его знал Саар.

Бумага. Мел. Латунь. Чернила. Сухая шерсть, всегда пахнущая воздухом.

К этому примешивалось личное узнавание Саара: Нильс не плескал ногами нарочно, научился ждать ответа между ударами и однажды принёс ему кусок мела, который не растворялся в воде. Дружба лирров не называлась теплом. Она ощущалась знакомым ритмом, который не требовалось проверять.

След появился.

Саар ждал Нильса под старым причалом. Картограф спустился по железным скобам, держась слишком напряжённо. Они обменялись ритмом. Нильс привязал к поясу промасленный свёрток с бумагой и позволил вести себя в узкий затопленный проход.

Канал существовал.

Он был старше официальной гавани. За новыми плитами скрывались блоки с выточенными желобами, рассчитанными на иной уровень моря. Местами проход сужался так, что Нильсу приходилось выдыхать и протискиваться боком. Саар знал каждый выступ кожей.

На второй развилке открылся боковой ток — путь к дому-вода. Узел на запястье напомнил о границе ещё до того, как Эмма повернула внимание. Она держалась за основной канал.

Саар ощущал старые насечки на камне когтями и мягкий поток от насосной галереи. Нильс время от времени поднимался в воздушные карманы, кашлял и делал отметки. На третьем повороте нашёл на кладке старый городской знак, отсутствовавший на современных планах.

Его сердце билось радостно. Не потому, что он оказался прав, а потому, что снова мог доверять собственным измерениям.

У выхода в сухой коридор Саар почувствовал два чужих сердца.

Одно находилось у стены и пахло железом, кожей и страхом. Второе — лечебной смолой, горькой травой и чем-то тёплым, спрятанным под одеждой.

Тёплый предмет бился не сам. Он отвечал на сердце носителя слабой задержанной вибрацией, как камертон отвечает на ноту.

Нильс выбрался на камень.

Человек с первым сердцем схватил его. Завязалась короткая борьба. Второй не торопился. Подошёл, когда Нильса прижали к стене, и коснулся места возле уха.

Саар не видел человеческого лица так, как его видел бы Нильс. Он ощущал движение крови, тепло кожи, вибрацию голоса. Поэтому повреждение не могло размыть черты, которых в его восприятии почти не было.

Но сердце второго человека изменилось.

На миг его ритм совпал с низкой вибрацией, исходившей от спрятанного тёплого предмета у груди.

Страх Нильса оборвался и стал спокойствием.

— Прохода нет, — сказал он сам.

Слова пришли к Саару через дрожь воздуха и камня, грубые, человеческие. Он ударил нападавшего хвостом. В ответ второй человек вынул металлическую пластину и провёл по ней пальцем.

Вибрация ударила воду.

Мир Саара вспыхнул болью. Давление исчезло, сердца рассыпались. Когда он пришёл в себя, Нильса уводили по сухому коридору. Картограф шёл сам, послушно, будто забыл не только канал, но и причину сопротивляться.

Саар попытался позвать других. Вместо правильного ритма из горла вышла человеческая фраза: прохода нет. Он не понимал слов, но повторял их снова и снова, пока боль не ослабла.

Воздействие коснулось и свидетеля, хотя человек у стены не прикасался к нему.

Саар преследовал до места, где вода становилась слишком мелкой. По гулу насосов и течению определил направление: старое насосное здание на северной стороне гавани.

На камне остался кусок рукава Нильса и кровь.

Эмма потянулась к маршруту нападавших дальше, но узел согласия натянулся. За боковым проходом находились дороги к поселению лирров. Она отвернулась.

Направление к насосному зданию оставалось впереди, а дом-вода — сбоку. Можно было убедить себя, что короткий взгляд поможет понять устройство канала и спасти Нильса.

Узел натянулся сильнее.

Эмма отпустила боковую дорогу. Саар не разорвал плетение.

Удар пластиной пришёл снова — уже остатком. Металл стал угрозой. Человеческая речь превратилась в болезненную вибрацию.

Эмма попыталась выйти.

Вместо зала почувствовала множество горячих сердец вокруг и одно особенно близкое.
Запах железа. Оружие. Знак.

Опасность.

Она отшатнулась к воде, хотя воды в рабочем зале было только в бассейне Саара.

Кто-то произнёс её имя. Звуки не сложились в смысл.

Эмма видела людей как слепые пятна тепла. Металл на груди одного из них кричал.

Она должна была добраться до моря.

Глава 20

Человек с железом встал между Эммой и выходом.

Она не знала его лица. Лица вообще потеряли смысл: бледные участки кожи, рты, производящие беспорядочные удары воздуха. Зато сердце било ровно и слишком близко. На груди висел металл, у бедра ещё один кусок, длинный и холодный.

Эмма попятилась.

Камень под ногами был сухим, и это было неправильно настолько, что не поддавалось объяснению: мир обязан поддерживать тело водой, объяснять расстояние давлением и приносить запахи течением, а вместо этого вокруг стояло пустое, ничего не сообщающее, предательски прозрачное вещество, в котором нельзя было понять, где стена и есть ли кто-нибудь за спиной. Воздух оставлял её слепой.

Человек произнёс что-то. Она различила низкий ритм, но не слова.

Позади находился бассейн. Эмма сделала шаг к нему.

Освальд попытался взять её за локоть. Его прикосновение стало нападением, и Эмма ударила наотмашь. Старик успел отступить. Бригитта позвала стражу.

Человек с железом поднял пустые ладони.

Потом медленно расстегнул пальто.

Он снял цепочку со знаком и положил на пол, отстегнул ножны и отодвинул их ногой к стене, потом вынул из кармана складной нож, подумал секунду и положил рядом — и каждый из этих звуков ударял по остаточной памяти отдельно, коротко и больно, зато после каждого угроза вокруг его сердца становилась меньше, будто с человека снимали слой за слоем всё, что делало его опасным.

Один из стражей шагнул вперёд.

Роберт остановил его ладонью.

Он не мог знать, что именно она сейчас видит, и не пытался угадывать. Он знал только последовательность, а последовательность была его ремеслом: взгляд на знак — страх, звук ножен — движение к воде, человеческие слова не достигают вовсе. Поэтому он убирал источники по одному, в том порядке, в каком они вызывали отклик, и после каждого ждал результата, как ждут после проверенной версии.

— Не держите её, — сказал он остальным.

На этот раз слова почти сложились. Не смысл — привычная последовательность звуков.

Он сел на корточки, коснулся ладонью камня и начал отбивать ритм.

Медленный удар. Пауза. Ещё один.

Не речь. Сердцебиение.

Ритм подсказал Саар. Роберт слышал, как лирр отвечал Эмме у причала, и видел в отчёте Освальда, что нечеловеческое восприятие удерживается телесным сигналом дольше слов. Это была догадка, не уверенность.

Другой догадки у него не было.

Человек вдохнул так, чтобы Эмма видела движение груди. Ударил снова, подстраивая ладонь под собственный пульс.

В памяти Саара этот человек был опасен. Он пришёл со знаком власти, от которого лирры скрылись. На нём пахло железом. Следовало бежать.

Но у Эммы была и собственная память.

Он поливал мостовую водой из кружки посреди рынка, не стесняясь выглядеть нелепо ради одного мокрого ботинка; не назвал Матиаса невиновным, когда именно этого от него ждали и когда сказать было бы легче всего; перевёл оплату лечения Лины через городской

фонд и ушёл раньше, чем кто-нибудь успел его поблагодарить; снял знак в нижней гавани, хотя считал её способ ненадёжным и сказал ей об этом прямо.

Роберт.

Имя вернулось без слов.

Она приблизилась на шаг. Он не протянул руку.

Эмма сама взяла его за запястье.

Под пальцами бился пульс. Живой, человеческий, ровный. Не растворённый в воде и не спрятанный за металлом. Один удар, второй. Роберт продолжал дышать медленно, позволяя ей держаться, не пытаясь удержать в ответ.

— Не уходите, — сказала Эмма.

Собственный голос прозвучал глухо, но смысл был её.

— Не уйду.

Он не сказал, что она в безопасности. Не знал. Не сказал, что понимает. Не понимал. Дал только обещание, которое мог выполнить в следующую минуту.

Слова дошли.

Каменный зал собирался вокруг пульса, как вода собирается вокруг брошенного камня: стены снова стали стенами, заводь — заводью, а пятна тепла и движения превратились в людей, у которых были лица, имена и вполне определённое выражение на этих лицах. Освальд держался за ушибленное предплечье. Бригитта стояла у двери, не подпуская стражу. Саар почти полностью погрузился в воду и наблюдал чёрными глазами.

Эмма по-прежнему держала Роберта.

Она различала сухое тепло его кожи, тонкий шрам у основания большого пальца, напряжённые сухожилия. Теперь, когда прикосновение перестало быть единственным понятным сигналом в мире, оно стало чем-то другим — слишком личным.

Эмма отпустила руку.

— Простите.

— За что именно? — спросил Роберт. — Удар получили не я.

Освальд осторожно пошевелил плечом.

— Трогательное проявление заботы.

Эмма бросилась к нему.

— Я вас ударила.

— Это я заметил.

— Нужно позвать врача.

— Нужно сначала решить, способны ли вы понять речь дольше одной минуты.

Лекарь всё-таки пришёл. Осмотрел зрачки Эммы, заставил проследить за пальцем, спросил год и имя правителя. Потом занялся плечом Освальда.

— Ушиб, — сказал он. — Возможно, растяжение.

— Видите? Ученица уже меня заменяет. В следующий раз сразу сломает что-нибудь важное.

Эмма не улыбнулась.

— Я могла столкнуть вас в бассейн.

— Могли.

— Или ударить Роберта, когда он подошёл.

— Могли.

— Почему вы меня не остановили?

— Потому что силовое удержание закрепило бы остаток угрозы. И потому что Ренн понял раньше меня, какой язык вы ещё слышите.

Освальд произнёс это без ревности наставника. Эмма всё равно увидела, как он осторожно поддерживает правую руку левой, и вина осталась.

Роберт поднял с пола знак, но не надел. Завернул цепочку в ткань и убрал в сумку вместе с оружием.

— Насосное здание, — сказала Эмма. — Саар почувствовал, что Нильса утащили туда. Два человека. Первый обычный нападавший. Второй пах лечебной смолой и нёс тёплый предмет у груди. Когда коснулся Нильса за ухом, его сердце на миг совпало с вибрацией предмета.

— Лицо? — спросил Роберт.

— Саар не воспринимал его так, как мы. Повреждение не скрыло сердце. Но я не могу превратить ритм в имя.

— Это уже больше, чем было.

Роберт повернулся к лирру. Тот протянул из воды мокрый свёрток — кусок рукава Нильса с засохшей кровью.

— Ключ, — сказал Саар. — Найти сухой.

Роберт принял ткань обеими руками. На этот раз знак власти оставался в сумке.

— Согласие Нильса неизвестно, — сказала Эмма.

Саар ударил когтем дважды.

— Он спрашивает, разве кровь не отдана во время борьбы, — перевёл Освальд.

— Кровь осталась после нападения. Это не добровольный ключ.

Роберт развернул судебное разрешение.

— Есть непосредственная угроза жизни и подтверждённое место удержания. Я запрошу расширение на биологический поиск маршрута, но не буду открывать ключ до ответа суда.

Саар не понял половины слов. Понял ожидание и недовольно ушёл под воду.

Эмма тоже хотела немедленно войти. Именно поэтому промолчала.

До вечернего отлива было далеко. Освальд запретил Эмме новый просмотр минимум до утра, а лучше на сутки. Роберт отправил с первой служебной лодкой приказ обыскать насосное здание и остался на острове: вода уже закрыла дорогу.

Через два часа вернулся посыльный на лёгкой лодке. Насосное здание оказалось официально пустым. Дверь заперта, окна заколочены, внутри слышен работающий механизм, хотя городской реестр утверждал, что насос отключили восемь лет назад.

Стража ждала ордер.

Роберт написал второй запрос и трижды перепроверил описание входов по карте Нильса — не потому, что сомневался в карте, а потому, что за девять лет службы усвоил простую вещь: там, где спешка кажется единственно правильным решением, обыкновенно и закапывают лишних людей. Каждый потерянный час мог стоить картографу жизни. Ворваться через затопленный канал без схемы означало положить в этой воде ещё троих, причём раньше него.

Он устроился в архивной комнате рядом с жилым крылом и разбирал записи. Эмма знала это, потому что слышала шаги за стеной и шорох бумаги. Каждый звук почему-то успокаивал.

Человеческая речь вернулась полностью к ужину. Металл всё ещё вызывал напряжение, поэтому Роберт ел деревянной ложкой, которую принёс с кухни, и не комментировал неудобство.

— Вы можете надеть знак, — сказала Эмма.

— Могу.

Он не надел.

После еды они вышли во внутренний двор. Море было видно между зубцами стены. Эмма села на каменную скамью; Роберт остался стоять, пока она не указала на место рядом.

— Когда вы сказали ждать, пока чувство переживёт воспоминание... — начала она.

— Я сказал это про вашу версию в деле Матиаса.

— Это подходит и к другому.

Он ждал.

— Я боюсь однажды увидеть, как кто-то любит, — сказала Эмма. — А потом решить, что люблю сама. Не на несколько часов. По-настоящему перепутать.

— Чувство, которое принадлежит памяти, должно слабеть вместе с остатком.

— А если не слабеет?

— Тогда подождать дольше.

— Очень научный способ.

— Не все способы требуют таблицы.

— Вы говорите так, будто ожидание ничего не стоит.

Роберт сел рядом, оставив между ними место для ещё одного человека.

— Стоит. Просто решение, принятое раньше, иногда обходится дороже.

— Вы всегда ждёте?

— Нет.

В коротком ответе было что-то закрытое. Эмма не стала искать дверь.

Она улыбнулась. Роберт заметил синюю подкладку, выглядывающую из плаща.

— Почему внутри?

— Снаружи Бригитта пришлось бы пережить слишком многое.

— Вы поэтому выбрали цвет?

— Нет. Он мне нравится.

Ответ дался легче, чем в день вопроса отца.

— Значит, непрактично, — сказал Роберт.

— Вчера вы сказали обратное.

— Вчера я ещё надеялся, что у цвета есть служебная функция.

— Например, предупреждать расследователей об опасной ученице?

— Для этого достаточно знакомства.

Эмма рассмеялась. Не потому, что шутка была особенно хороша, а потому, что сухость его голоса впервые не была стеной. Роберт посмотрел на неё с коротким удивлением, словно не ожидал, что умеет вызывать такой звук.

— Вы всё ещё считаете меня препятствием? — спросила она.

Он обдумал ответ серьёзно.

— Иногда.

— Какая честность.

— Но раньше я считал вас неопытным препятствием. Теперь — неопытным человеком, который замечает то, чего не замечаю я.

— Это почти похвала.

— Не раздувайте событие.

— А вы теперь замечаете, когда говорите как Освальд?

Роберт нахмурился.

— Нет.

— Это тревожный признак.

— Запишите в аномалии.

Фраза Освальда в его устах заставила её снова улыбнуться.

Когда они вернулись в жилое крыло, Роберт остановился у её двери.

— Остаток может вернуться во сне. Если речь снова перестанет иметь смысл, стучите в стену. Я буду в соседней комнате.

— Потому что моё сознание привыкло к вашему пульсу?

— Потому что там лежат материалы дела.

— Конечно.

Ночью Эмма один раз проснулась от ощущения воды вокруг тела. Прислушалась. За стеной шелестела страница. Потом тихо, почти неслышно, дважды ударили пальцы по столу.

Ритм был знакомым.

Она ответила одним ударом в стену.

Больше они не общались. Присутствия хватило.

К утру чужой страх исчез.

Роберт стоял во дворе, собираясь к первой лодке. Металлический знак по-прежнему лежал в кармане, не на груди.

— Следователь Ренн, — позвала Эмма.

Он обернулся.

Остатка Саара больше не было. Эмма проверила это: железная пряжка на его ремне не пугала, человеческая речь звучала ясно. Но тепло, возникшее при виде Роберта, осталось.

— Спасибо, — сказала она. — Что не ушли.

— Я обещал.

— Вы всю ночь работали?

— Не всю.

— Я слышала страницы.

— Значит, человеческий слух восстановился.

Под глазами у него лежали тени. Эмма не сказала, что два удара пальцев не относились к материалам дела.

Он произнёс её имя впервые без титула и раздражённой поправки:

— Отдыхайте, Эмма. Я вернусь с результатами обыска.

Лодка отошла от площадки. Она смотрела ей вслед дольше, чем требовалось убедиться в безопасном проходе между рифами.

И впервые надеялась, что Роберт вернётся не только потому, что появилось новое дело.